



РОССИЯ
ДЕРЖАВНАЯ

ВЛАДИСЛАВ
БАХРЕВСКИЙ

ЦАРСКАЯ
КАРУСЕЛЬ

ВОЙНА
С КУТУЗОВЫМ



Россия державная

Владислав Бахревский

**Царская карусель.
Война с Кутузовым**

«ВЕЧЕ»

2019

Бахревский В. А.

Царская карусель. Война с Кутузовым / В. А. Бахревский —
«ВЕЧЕ», 2019 — (Россия державная)

ISBN 978-5-4484-7924-3

«Царская карусель» — панорамная и исторически достоверная картина, изображающая русское дворянское общество в период до войны 1812 года, а также в период самой войны. Это роман об эпохе, роман «о Времени», когда к русским границам приближается наполеоновская «гроза», а противостоять ей способен лишь один полководец — Кутузов, который вовсе не «немогущий старец». Он полон сил, так что способен воевать на два фронта — не только с Наполеоном, но и со всеми приближёнными Александра I, не понимающими, в чём благо для армии, — и всё же остаётся вопрос: будет ли сражение выиграно на обоих фронтах? Роман «Царская карусель», ранее публиковавшийся в толстых журналах и уже заслуживший признание читателей, впервые выходит в твёрдом переплёте. Данная книга с подзаголовком «Война с Кутузовым» является второй частью романа.

ISBN 978-5-4484-7924-3

© Бахревский В. А., 2019

© ВЕЧЕ, 2019

Содержание

Часть первая	5
Конец покойной жизни	5
В дороге	10
В Бухаресте	12
Заботы	17
Рущук	19
Странный полководец	24
Царствование на деле	27
Скифы и сарматы	31
Ненавистник Вольтера	34
День рождения	38
Золотой дворец в золотом лесу	40
Столичная жизнь	42
Стояние стоянию рознь	45
Удар льва	49
Часть вторая	51
Открытие лица	51
У художника	54
Знамение	56
Комета	58
Счастье быть офицером	60
Гора войны	62
Граф Огиньский	66
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Владислав Бахревский

Царская карусель. Война с Кутузовым

Часть первая Турецкая война

Конец покойной жизни

– Застоялся груздь, да сгодился. Не зачервивел.

Камердинер, принесший на вешале мундир, смотрел хмуро.

– Грузди не червивят. Во всем губернаторстве Вашего высокопревосходительства такого мундира не сыщешь.

Слуги за господ – горой, подмывало съехидничать: «А в Петербурге?» Не стал дразнить доброго старика.

Сидя на деревянном легоньком креслице, Михаил Илларионович смотрел на своего величавого двойника, будто из самого детства.

Шестьдесят шестой! Что заслужено, вот оно: ордена, ленты, эполеты. Впрочем, немилости тоже напоказ. Генерал от инфантерии – высоко, но тринадцатый год без повышения.

Бога неча гневить: двадцать семь лет в генералах. Ступенек у лестницы, по коей лез наверх, сразу и не сосчитаешь. Капрал, каптенармус, кондуктор, прапорщик... Первый бой – в девятнадцать, под Варшавой. Это сколько же? 1811 минус 1764... Сорок седьмой год! 28 июня – сорок семь.

Ордена, как судьба. Вот Владимир II степени. Представил матушке Екатерине, когда возвращалась из Крыма, Полтавскую битву на Полтавском поле. А вот Владимир I степени. За рану под Аустерлицем. Подслащенная отставка. Иное дело Святая Анна. Тоже за рану. Пуля ударила в щеку, вышла в затылок. Се было под Очаковым. Тогда и Суворов получил ранение, в шею. Орден даден за то, что жив остался.

А се – славные кресты Георгия Победоносца. Первый за бой у Шумны, близ Алушты, в Крыму. За чудо. Пуля ударила в висок и вышла под глазом. Рана смертельная, но Богу нужен на земле. Императрица Екатерина, дорожа своим Кутузовым, поправлять здоровье отправила за границу. Повидал Европу: Германия, Италия, Франция, Голландия, Англия...

Второй Георгий за Измаил. За дело.

Что прожито, то прожито.

Сердце было покойно. Не осталось в нем вожделения новых эполет, наивысших орденов, вельможных титулов. Слава богу, не иссякло стремление служить русскому оружию.

Гонец везет рескрипт о назначении командующим Молдавской армией. Корпусным начальником не сгодился, а вот командующим – милости просим. Приспичило!

– Одеваться? – спросил застоявшийся в сторонке камердинер.

– В чемодан! Тяжелехонек. Поеду как есть. Неприятеля генеральскими звездами не испугаешь.

– А для проводов?

– Проводы... – Михаил Илларионович даже сопнул. – Да ведь чай не Петербург! Вильне я и этакий сгодился. Для дороги, для войны – в сюртуке удобнее. Столь ладно пошитого сюртука ни у единого губернатора нет.

Что верно, то верно: Кутузов носил отменное белье и рубашки, сюртуки шиты были мастерами из превосходнейших тканей. Даже чрезмерная тучность не шла в ущерб костюмам Кутузова. Но была еще одна причина, не позволявшая носить на войне парадные мундиры. Всю кампанию, сколь бы долгой ни была, Михаил Илларионович спал не раздеваясь.

– Ну, что ж, голубчик, поглядели, подивились на звезды – и ладно! – Кутузов поднялся с кресла, подошел к мундиру, дотронулся до эполет, до орденов. – Всё за труды... А время-то вон как скачет – обедать пора.

Обед был приготовлен самый изысканный, но ели с губернатором всего пятеро офицеров, коих он брал с собою в Молдавию.

– В весну, господа, отправляемся, – сказал Михаил Илларионович, ласково поглядев на каждого. – Молдавия страна зеленая. В том краю даже церкви строят, глядя на ели. Почти все двуглавые. Подняты шатры высоко. В Молдавии Бога любят... А в Литве – поесть. Каковы повара!

Польские изощренные подливы на литовский лад умиляли Михаила Илларионовича. Болезненная государственная неполноценность оборачивается превосходными достоинствами в сферах самых неожиданных.

Парки литовских магнатов переняты у ясновельможной Речи Посполитой, но, почти всюду, великолепнее. Ежели у Потоцкого в его парке сотня оленей, то у Радзивилла их будет тысяча. Польки одарены красотой и щедрой на любовь, литовки же охочи до ласк вдвое, любой иностранец для них желанен.

Михаил Илларионович и одним глазом видел: все его три горничные, ревнуя господина друг к другу, прислуживают с особою интимностью. Интимность сия свойства тончайшего, распялет скрытной страстностью, охотой первенствовать среди соперниц.

Все это ужасно трогало. Старый сатир, так называл Кутузова император Александр, испытывал самую нежную благодарность к своим красавицам – превосходнейшим в Литве. Увы! Долгая дорога из Киева, а в дороге он дважды болел, и болел тяжело – поубавила былой прыти. В Киев ездил в отпуск, распорядился с недвижимой собственностью.

Военным губернатором Киева Кутузов служил год четыре месяца, и еще год четыре месяца числился на оной должности, будучи командующим главного корпуса Молдавской армии. Интригами фельдмаршала Прозоровского и особливо жены его, статс-дамы Анны Михайловны, Михаил Илларионович и оказался в военных губернаторах Вильны.

Ехал в сии края, как в изгнание. После Киева губернаторство в Литве – утрата перво-степенных государственных: высот, явная немилость. Но в тоску вгоняло иное: до воровства и взяточничества во всю свою жизнь не опускался, а жить предстояло на жалованье весьма скудное. И что же! За год и восемь месяцев Михаил Илларионович не токмо смирился с новым своим положением, но обрел столько привязанностей, что уж и не желал снова влезать в шкуру вершителя истории.

Исхитрился жить на скромные деньги, не отказывая себе в излишествах стола и содержания прислуги.

– Ваше превосходительство всю жизнь на турецкой войне, – сказал полковник Паисий Кайсаров и словно бы что-то не договорил.

– Главнокомандующим впервой, – сказал Кутузов, словно угадав недоговоренное. – Войск мало, растянуты, страшно подумать, – на тыщу верст, войну вести предписано оборонительную, а победу – подавай...

– Болгары готовы всем народом противостоят туркам, – сказал один из офицеров.

– На Балканах жизнь сложная. Единства там во веки веков не бывало. – Михаил Илларионович вкушал подливы, и удовольствие светилось на его весьма полных, а посему отнюдь не старческих щеках. – Венгры, страстно боровшиеся против Габсбургов, за помощью бегали к исконным своим поработителям. Мудрец-визирь Ахмед Кепрелю заговорщиков не жало-

вал, некий феодал Заринья предлагал Кепрелю двенадцать тысяч талеров ежегодной дани за тридцатитысячный турецкий корпус. Переплетение интересов на Балканах самое невероятное... Турецкое иго, для крестьян, кстати, было не обременительнее поборов собственных господ. Султанский налог, налоги пашей были разумны, и это при отсутствии барщины. Часто на село накладывали общую подать, и крестьянская община получала значительную самостоятельность.

– Почему наша война с Турцией получается какая-то бесконечная? – спросил Кайсаров.

– Как воюем, то и получаем. – Кутузов поднял лицо к образам в красном углу: – Дал бы Господь здоровья!

– Здоровье и свежесть армии – залог всякой победы, – согласился с генералом.

– Я о своем здоровье. Помните болезнь, приключившуюся с Александром Македонским? Искушался, распаренный, в реке и слег, а Дарий наступает, причем распусшив слухи, что врачей за умерщвление Александра наградит тысячью талантов. И помните, что сказал Александр своим лекарам: «Для меня лучше умереть сразу, нежели поправиться слишком поздно... Мне нужно от врачей средство не для спасения жизни, а для продолжения войны». Помните, что было дальше?

Офицеры молчали.

– Хранитель здоровья царя Филипп предложил дать сильное лекарство, которое действует не быстро, но верно, и ослабит болезнь. В тот же день Александру подали письмо от его полководца Пармениона. Предупредил: Дарий обещал Филиппу за смерть Александра не только награду, но и свою сестру. Александр подумал и решил: лучше умереть от преступления другого, чем от собственного страха. Когда пришел Филипп с чашей, великий македонец выпил лекарство, а потом дал врачу страшное письмо. Всё кончилось тем, что Александр через три дня предстал перед войском и Дарий был повержен.

Разговор за столом пошел самый ничтожный, о гордыне литовской знати, о нелюбви поляков ко всему русскому. Паисий Кайсаров не выдержал:

– Михаил Илларионович, пока есть время: что нам надобно взять в дорогу? О чем озаботиться ради успеха в предстоящей кампании?

– Сыщите мне второго Милона! – улыбнулся простецки, видя смущение своих офицеров. – Простите, что умничаю. Милон – шестикратный олимпийский чемпион из города Пифагора Кротона. Когда сибариты, имея тридцать мириад, что соответствует нашим тремстам тысячам, напали на десять мириад кротонцев, Милон, в своих олимпийских венках, в львиной шкуре Геракла, обратил своею палицей сибаритов в бегство. В Молдавской армии нам непременно надобно иметь своего Милона, дабы принудить турок искать мир.

– Господи, вы так много знаете и помните! – вырвалось у Паисия Кайсарова.

– Не из рода, а в род. Моего батюшку Иллариона Матвеевича некогда наградили прозвищем «Разумная книга». Надобно не только читать, но и помнить читанное.

– А каков ваш идеал человека? – с бесшабашной отважностью спросил Кайсаров.

– Пожалуй, Пифагор, житель Кротона. Гиппобот и Неанф, поведавшие миру о Пифагоре, говорят о его реинкарнациях. Пифагор помнил события Троянской войны и время основания фокейцами Массилии. Он называл себя Эталидом, сыном Гермеса, потом его душа переселилась в Эфроба, и во время Троянской войны он был ранен Менелаем. Далее Пифагор звался Гермотимом Пирром, делосским рыбаком, и только потом Пифагором, жизнь коего исчисляется 82-мя годами.

Глаза Кутузова смеялись, но Паисий Кайсаров знал: любовь генерала к Пифагору не пустая шутка: Михаил Илларионович – каменщик ложи во Франкфурте и Берлине, состоит в шведском союзе «Духовных рыцарей», отмечен орденом «Зеленеющий лавр».

– Да, господа! – улыбнулся генерал своим офицерам. – Как сказал Менекрат: «Старость желанна, пока ее нет, а придет – порицают. Каждому лучше всего то, что еще не пришло».

Обед был кончен. Офицеры откланялись. Горничные стояли, как серны, подняв головки – в глазах, ожидание. Михаил Илларионович всех расцеловал и отправился, по русскому обычаю, к Морфею. На сей раз в одиночестве.

Сон вышел воробьиный. Смотрел на огонек лампадки под иконою Богородицы.

Тучность представлялась Михаилу Илларионовичу бременем грехов. В Киеве, когда губернаторствовал, по часу в день хаживал пешком. Не растряс пуды.

С детства во грехе. За его жизнь матушка заплатила собственной... Тут бы Господа молить, но обитание в доме Ивана Логиновича, коему богом был Вольтер, одарило и детством безбожным. Просвещались!.. А вырос – впал в модную дурь: на тайны потянуло, возжелал повелевать судьбою мира. Вот и повязал себя масонскими клятвами. Слава Господу, душа птица вольная, душою от православия не отпал.

Защипало в глазах, молодо закипели горячие молитвы в сердце. Сердце всегда молодо.

«И на колени-то стать – сначала думай, кости поломаешь». – Михаил Илларионович согнул спину, отставил назад правую ногу и, опершись обеими руками в левое колено, медленно опустился на пол.

Был день преподобных отцов Прокопия Десятиградского, Стефана – подвижника странноприимства, пресвитера Печерского Тита...

Будучи послом в Стамбуле, Михаил Илларионович ездил в Арматию – предместье Стамбула, где преподобный Стефан строил больницы для престарелых. Прокопий Десятиградский тоже малоазиец. Прияв в сердце Духа Святого, не устрасился гнева василевса, не отрекся от святых икон, отсидел в тюрьме до смерти иконоборца Льва Исоврянина. Житие же Тита Печерского – поучение о страхе Божиим. Преподобный отец со смертного одра послал просить о прощении у друга своего диакона Авагрия, ибо их дружба обернулась ненавистью. Авагрий пришел к одру, но вместо раскаянья обещал Титу хранить в себе распрю не токмо на земле, но и в будущей жизни. Тотчас и упал замертво, а Тит – исцелился. Обрел дар чудотворенья.

«Господа! – мысленно молился старый генерал. – Царь посылает меня воевать с турками. Прошу милости Твоей одолеть неприятеля, сохраняя сколь можно больше жизней православных и мусульман, ибо нет во мне ненависти к иноверцам, но есть попечение о благе России. Умудри устроить мир скорейший. Не кровью залью землю, но убелю милосердием Твой Белый свет, коли не оставишь меня».

Прочитавши «канон молебный ко Пресвятой Богородице», просил и своими словами:

«Стар я и немочен, Благодатная, а меня – в главнокомандующие. Все беды, приносимые войной, на мои лягут плечи, за все грехи – мне отвечать перед Богом. Богородица! Под Твой Покров, под омофор Твой прошусь. Нет во мне не токмо жажды, но и малого мечтания о наградах, о славе – слава генеральская на крови возрастает. Но избавь меня, Пречистая, и от позора на седины мои, на мундир мой. Благослови послужить Государю и Отечеству под водительство Святых сил Небесных».

Помолясь, сел написать письмо Елизавете Михайловне Тизенгаузен, третьей дочери своей, вдове. Супруг ее Фердинанд убит под Аустерлицем, в несчастнейшем сражении для русского оружия.

«Лизинька, мой друг, и с детьми, здравствуй! Я получил из Петербурга известие, благодаря которому могу оказаться по соседству с тобою. Это значит, что я, вероятно, буду назначен командующим армией в Турции. Уверяю тебя, что это меня вовсе не радует, наоборот, сильно огорчает, клянусь тебе. Министр подготавливает меня к этому...»

Пост военного министра занимал Михаил Богданович Барклай де Толли. Тоже генерал от инфантерии. В министрах всего год, а труды явственные. В армии небывалая прежде новость – Главный штаб, начальник штаба. Сама структура армии перелопачена. Барклай свёл разбросанные по стране полки в дивизии, в корпуса, причем корпуса, ради их подвижности и боеспособности, устраивает из трех родов войск: пехота, кавалерия, артиллерия. Похвально, что

озаботился резервами. Формирует пехотные и кавалерийские дивизии, уже стали явью четыре артиллерийские бригады...

Михаилу Илларионовичу пришлось по сердцу один из первых же циркуляров министра: «Армию отличает неумеренность в наказаниях, изнурение в учениях сил человеческих и непечение о сытной пище». Так вот прямо и объявил главную беду вооруженных сил государства Российского. Мало того, указал причину, откуда сие проистекает: «Закоренелое в войсках наших обыкновение всю науку, дисциплину и воинский порядок основывать на телесном и жестоком наказании; были даже примеры, что офицеры обращались с солдатами бесчеловечно, не полагая в них ни чувства, ни рассудка. Хотя с давнего времени мало-помалу такое зверское обхождение переменилось, но и поныне еще часто за малые ошибки весьма строго наказывают».

Сей циркуляр не что иное, как указание сверху об отмене аракчеевщины, службы под палками. Забота же о солдатском желудке у Барклая отнюдь не на словах, принялся устраивать склады с продовольствием. «Оборонительные базы» – на случай войны с Наполеоном – устраиваются во Пскове, в Кременчуге, в Смоленске, в Москве.

Министр соответствует месту.

– А вот будет ли соответствовать Кутузов в свои шестьдесят шесть назначению в главнокомандующие? – Михаил Илларионович отложил письмо к дочери и принялся набрасывать черновик ответа министру.

«Получа отношение Вашего высокопревосходительства о предназначения меня главнокомандующим к Дунайской армии, я тотчас приготовился к исполнению высочайшей воли».

Перо столь быстро пролетело по бумаге, что Михаил Илларионович даже придвинулся к листу, изумленный написанным его же рукою. Еще мгновение назад собирался донести министру о недомоганиях своих. Ведь всего две недели тому назад, по дороге из Киева, несколько раз останавливался не ради насморка. Не жил, а плавал.

– Солдат ты, братец! – сказал себе, покачав головою. – И царедворец!

Перо уже снова бежало по бумаге, выводя мысль округлую и нужную до обязательности: «Доверенность государя в толь важном случае заключает в себе всё, что только льстить может человека, хотя бы наименее честлюбивого».

Единственный абзац на листе смотрелся не вполне вежливо, и посему написал еще один: «В летах менее престарелых был бы я более полезным; случаи дали мне познания той земля и неприятеля; желаю, чтобы мои силы телесные при исполнении обязанностей моих достаточно соответствовали главнейшему моему чувствованию, то есть приверженности к лицу государя, ныне над нами царствующего».

Перечел, поставил подпись:

«Генерал от инфантерии Голенищев-Кутузов».

Теперь можно было и дочери письмо дописать.

В дороге

Сколько ни проживи на белом свете, невозможно на землю наглядеться.

Михаил Илларионович смотрел, не отрываясь, в окошко кареты.

Земля освободилась от снега, но тепла нет – слежалая прошлогодняя трава мертва. А все равно от мира Божьего глаз не отвести.

Впереди война. Сто тысяч забот на бедную голову. Однако ж думать наперед степенные лета не позволяли. Молодость раскидывает умишком так и этак, планы строит, ловким выдумкам радуется: раз-два – и звезда на грудь!

Мудрость мудрому силы бережет.

В голове лишь то, что глаза увидели: нерасцветшая весна, птицы, деревеньки.

Покидал Вильно по-солдатски. Город хороший, пригожий, но приказ есть приказ. Михаил Илларионович и теперь не пускал в сердце сожаления, хотя перед глазами вставляли то барокко церковки Казимеро, то готические храмы Миколояус, веер древних улиц с горы Гедимины, а более всего – Нярис, не больно великая река среди зеленых берегов. Литва – страна зеленая...

Государь, мстившей за Аустерлиц, за то, что воевал не по Кутузову, а по Фулю, по планам австрияков, очаровавших Его Величество, засунул ненавистного старика подальше от себя, в литовскую глушь, это после губернаторств в Петербурге, в Киеве. А Михаил-то Илларионович был терпелив и даже рад своей удаленности от Зимнего. Разве что с семьей в разлуке. Но вся его жизнь – разлука на разлуке. Если душою-то не кривить, он полюбил свою жизнь в сей скромнице стране. Всех хлопот на губернаторстве – пришлось границу обустраивать. Всего один казачий полк – четыре сотни сабель – смотрел за дистанцией в двести с лишним верст... Добился присылки еще двух полков, обязал «полицию употребить за чужестранцами тайный надзор»... Наладил поставку с чугунных заводов снарядов к тяжелым орудиям.

Встряхнулся, отер лицо руками. Прощай, Литва! Прощай!

– Господи! Все перемены к лучшему! – вслух сказал.

Да как же не к лучшему – знать, ахти как приспичило, коли в главнокомандующие ставят... Кутузова!

Земля всё бежала, бежала от ездока и замерла. Смена лошадей.

Михаил Илларионович прошел в горницу постоянного двора. Чисто. Рушники на иконах.

Хозяин, увидевши перед собой генерала, перепугался:

– У нас на обед галушки да тюря!

– Из чего тюря-то?

– Квасок, сухарики аржаные, лучок.

– Перьевой?

– Перьевой. Пока тепла нет, в горшках рошу.

Михаил Илларионович умылся под рукомойником, сел за стол.

Сопровождающие засуетились, спрашивая, есть ли где приготовить из своего, но Кутузов остановил их:

– Поторапливаться нужно. Тюрька тоже еда.

Еще кто-то приехал. Дверь отворилась, и в горницу, как горох, посыпались ребятишки.

Вслед за детьми явилась их мать. Замерла у порога – генерал за столом.

– Что остолбенела? Ты у меня, как жена праотца Лота! – весело сказал священник, заходя в дом, и тоже увидел генерала.

Михаил Илларионович поднялся, поклонился, приглашая матушку занять его место.

Подошел к священнику, сложил руки:

– Благослови, отче!

Батюшка благословил.

– Тут у них одна тюрка.

– Да мы токмо водицы испить, ваше высокопреосвяще... прео... прео... – спуталась матушка, пылая щеками. – Штанишки еще одному поменять. Да уж ладно, поедем! Нам до дому всего десять верст.

– Вот и делайте свое дело, – сказал Кутузов, глянувши на Кайсарова.

Тот исчез, явился с конфетами.

Детки ужасно стеснялись, но, получив конфеты, просияли глазками, глядели на генерала одобрительно. Михаил Илларионович усадил батюшку на лавку, сел рядом.

– На войну еду, отче. Помолись о рабе Божьем Михаиле. – Батюшка сидел ни жив ни мертв. – Как изволите называть ваше благочестие?

– Отец Владимир.

– Отче Владимир, подам вам записочку поминать нас, грешных, о здравии.

Кайсаров принес бумагу, чернила. Михаил Илларионович написал.

– Прочитайте. Понятно ли?

– Екатерину, Прасковью, Анну, Елизавету, Екатерину, Дарью... Михаила... Воинство Молдавской армии.

– Ближайшие... Супруга, дочери, внуки... И воинство. Знать бы всех солдат по именам! Дал деньги.

– Господи! Я же сельский батюшка! – вырвалось у священника.

– И слава Богу! Скорее молитва дойдет до Престола Всевышнего.

Дети напились воды, накушались генеральских сладостей. Мокрые штанишки были заменены.

Матушка кланялась генералу, кланялся батюшка, детки гурьбой повалили наружу.

Михаил Илларионович сел покушать поданной тюрки, и тут заявила дама весьма могучего вида.

– Лошадей!

– Госпожа, лошади генералу запряжены! – поклонился приезжей хозяин. – У генерала подорожная.

– А я Васса Демидовна, али не признал?

– Генералу на войну.

– Знаем, как они воюют! В моей деревне рота стояла разъединую ночку. И все бабы мои теперь брюхаты.

– Вестимое дело, – согласился Кутузов. – Где солдат ни пожил, там и расплодился.

– Ворьё твои солдаты! – вконец осерчала Васса Демидовна.

Кутузов снова согласился:

– Солдат – багор. Что зацепил, то и потащил.

– Бесстыжье племя!

– Что подделаешь? Солдат краснеет токмо на морозе да на огне.

Михаил Илларионович доел тюрю уже с поспешностью. Доел, перекрестился на иконы, барыне поклон отвесил, да так ловко.

Когда генерал отбыл, спросила:

– Кто таков?

– Кутузов.

– Не слыхала. Суворов, Потемкин, Румянцев, а этот хоть и стар, да не знаменит.

– Генеральская слава всегда впереди.

В Бухаресте

Земля Молдавии пахла детством.

Михаил Илларионович, оглядывая из каретки изумрудную травяную молодь, понимал: травую пахнет, но сердце билось, как бьется у пятилеточек. Затая радость, ибо для детства всякий день – чудо.

Весной и миром дышала молдавская земля.

Михаил Илларионович, всю дорогу страшившийся болезней, воспрял духом: он прибыл принести покой сей доброй земле.

Через войну, разумеется.

До Бухареста добрался вечером 31 марта.

Голова от долгой езды покруживалась, и Михаил Илларионович, занявши отведенный ему дом, никого не принял, но дежурному штаб-офицеру приказал занести в журнал: генерал от инфантерии Голенищев-Кутузов в командование Молдавской армией вступил.

Спал, как истинный барин, до полудня.

Встал ото сна здоров, бодр к тотчас написал рапорт о прибытии в Бухарест императору Александру и письмо министру, в котором сообщал, что «о положении дел и обстоятельств до армии мне вверенной и неприятеля касающихся, ничего покуда не знаю».

После позднего завтрака Кутузов соизволил познакомиться со своими штаб-офицерами, перечитал бумаги и донесения и только после этого слушал доклады: сначала интендантов, потом разведки. Начинать же деловые, военные разговоры, к изумлению боевых орлов, подомашнему. Спрашивал о здоровье, о содержании – есть ли какие трудности, просил кланяться батюшке и матушке. Задавал множество дотошных вопросов, для войны малозначащих. Те, кто только слышал о Кутузове, удивлялись его телесной рыхлости, стариковской, нетерпимой для военного человека неспешности и, как показалось, заискивающей игре в доброго отца. Сей знаменитый полководец даже на карту ни разу не посмотрел, выпрашивая о диспозиции корпусов и отрядов.

Не ведали: над картою Михаил Илларионович сидел за полночь.

Затянувшаяся весна встрепенулась, грянуло тепло, зацвели сады.

Главнокомандующий сам себе порадовался: и одним своим глазом углядел, прислуга – сплошь красавицы, и все с кроткими взорами.

«Старого воробья не проведешь, – посмеивался над собою Михаил Илларионович. – Корень местного лукавства – в кротости».

После бледных, белых, скучных лиц литовок – там женское лукавство в этой самой скуке на показ – южная смуглость волновала...

Первое распоряжение птенца гнезда Суворова привело штаб-офицеров в недоуменное негодование. Слышали впрочем: Кутузова недоброжелатели честят «старым развратником». Распоряжение командующего как раз и соответствовало мерзкому прозвищу. Генерал распорядился доставить ему местных красавиц разных сословий: хорошо бы дюжины три, а то и все пять, и притом желающих заработать «в свое удовольствие».

Женщин сыскивали, представляли Кутузову, но у старца они не задерживались, передавались в штаб, и одних тотчас отпускали с миром, других, нужных, готовили для засылки в города, где стояли турецкие гарнизоны.

– Старец бабами собирается турок побить, – посмеивались штаб-офицеры, но брезгливость с них сошла, теперь с командующим встречались глаза в глаза, провожали с добродушным изумлением: истинный лис. Кто-то из старых соратников Михаила Илларионовича обронил:

– Когда Кутузов сидел послом в Стамбуле, его воинством был султанский гарем. Обольстительные насельницы оног славные победы доставили Михаилу Илларионовичу.

Не сразу поняли господа офицеры – неспешностью новый главнокомандующий маскировал огромную, кропотливейшую военную работу.

Ровно через неделю, 7-го апреля, к Барклаю де Толли пошел подробный план военных действий, соответствующий возможностям Молдавской армия.

Предшественнику Кутузова, Каменскому 2-му, Александр и его советники предписывали вести войну оборонительную, действовать наступательно – только от Рущука к Плевне. Но Каменский заболел, а генерал-лейтенант Ланжерон, имея пятьдесят батальонов, опустошать территорию ради лишения турецкой армии продовольствия – с походом затянул. Тут как раз Петербург забрал из Молдавской армии пять дивизий. Их отправили на Западную границу встречать Наполеона. Кутузову Александр оставил 8-ю, 9-ю, 16-ю и 22-ю дивизии.

Генерал Ланжерон, ожидая приезда нового главнокомандующего, собирался в марте ударить на Тырнов, но разведка доложила о сосредоточении, именно под Тырновом, больших турецких сил.

Так что турецкая война оставлена была тлеть и могла длиться многие годы. Кутузов, изучив обстановку, понимал: удачами в боевых действиях мира не добьешься – токмо уничтожением султанской армии. Петербург победы, вестимо, желал, но – обороняясь, словно такое возможно.

Главнокомандующий нашел свои войска растянутыми в линию на тысячу верст! Корпус в Белграде. Помогали сербам. В корпусе шесть батальонов, уланский и Донской кавалерийские полки. Огневая мощь – восемнадцать пушек.

В Малой Валахии, у Крайнова, правый фланг оборонял корпус генерал-лейтенанта Засса. Девять батальонов пехоты, три драгунских полка и достаточно артиллерии.

Корпус генерала-лейтенанта Воинова стоял при Слободзее, держа под контролем нижнее течение Дуная. Переправа в районе Исакче под наблюдением небольшого, но сильного отряда генерал-майора Денисьева. Отряд занимал позиции при Табаке в одном форсированном марше от Браилова и от Слободзеи.

Еще один отряд, под командою генерал-майора Инзова, располагался на берегах реки Ольты. Отряд этот входил в корпус Засса, но у Кутузова на него были свои виды. Соединив корпус Ланжерона, гарнизон Рущука и отряд Инзова, можно было получить ударную силу мощностью в тридцать пять батальонов.

Михаил Илларионович учитывал и четыре сотни торговых турецких судов при Видине. Турки могли вооружить их пушками и действовать по Дунаю. Но комендант Видина Мулла-паша, имевший доходы от торговли с русскими, всячески берег сей флот от участия в боевых действиях. Другое дело, корабли обязательно используют для переброски войск на левый берег, занятый русскими.

Кутузов, разрешая сию угрозу, отправил Мулле-паше подарки и купцов, коим паша продал лучшие корабли.

Итак, под своею рукою новый главнокомандующий нашел 27 тысяч пехоты, 14 тысяч кавалерии, 4 с половиной тысячи артиллеристов. Плюс Дунайская флотилия.

О турках знал пока немного, но главное: султан поставил в визири умного и решительного Ахмед-пашу – старого знакомого по Стамбулу. Немощный Юсуф-паша от армии отставлен, а воинственный Ахмед уже прибыл в Тырново. Войск при нем мало, но собираются. По самому свежему донесению – уже явилась азиатская конница, три тысячи сабель.

Только через неделю «неспешных» трудов, от зари до часа ночи, сумел Михаил Илларионович посетить семейство дочери. В десятом часу вечера за ним приехал посольский человек Николай Федорович Хитрово, второй супруг любимой Лизоньки.

Младшие внучки уже спали, а Катенька, дочка убитого под Аустерлицем Тизенгаузена, ждала дедушку.

– Лизенька! Катенька! – Генерал обнял дочь и с церемонной учтивостью поцеловал крошечную руку внучки.

Катенька просияла. Обе были в простонародном румынском платье. Ослепительно белые рубахи, с вышивкой вертикальными полосами по груди, по широким рукавам. Узоры на юбках, на передниках. Ноги в красных сапожках с высокими каблуками. По плечам богатые шали, мониста цыганские, из серебряных монет.

– Да вы у меня молдаванки!

– Это кэмеше, – объяснила Катенька, – это катринцэ, это згардэ, это пасажожь.

Показывала на рубашку, юбку, мониста, сапожки.

– Мы теперь увлечены дочерью господаря Василия Лупу, красавицей Роксандой. – У Лизеньки в глазах озорство.

– Дедушка! Роксанда отвергла любовь князя Вишневецкого, не дала положительного ответа Потоцкому, и, представь себе, согласилась на судьбу казачки! – Катенька говорила всё это по-немецки, личико строгое, а глаза, как у мамы. – Она влюбилась в рябого Тимоша Хмельницкого. Он был великий воин. В шестнадцать лет командовал казачьими полками и всегда побеждал!

– Казак-то казак, да сын Хмельницкого! – улыбнулась Елизавета Михайловна.

– Мама! Что из того, что сын?! – Катенька даже рассердилась. – Он сам был грозой.

Михаил Илларионович слушал внучку, и на его душу веяло семейным, почти уже забытым уютом.

Лизеньку он нашел расцветшей, ей двадцать восемь, Катенька в свои десять выглядела дивным диким цветком. Эта «дикость» – она вся в сияющих темных глазках – обещала в будущем обернуться магнитом.

Улыбнулся самому себе: «Бабий генерал».

Господь послал ему отцовство, для солдата самое несносное – пять дочерей. Был и сын, Николенька, первенец. Да Бог взял в младенчестве: кормилица заспала, задавила попросту...

Дочерей своих генерал любил нежно, отдавая каждой всё свое сердце, так же, как и супруге, черноокой Екатерине Ильиничне. Молодость Екатерина Ильинична, дочь генерал-поручика Бибикова, – провела в походах, бок о бок со своим подполковником, полковником, бригадиром, генерал-майором. Лишь когда был послом в Стамбуле, жила в Елизаветграде. Потасил бы и к туркам, но быть послом при султানে – служба против даже войны опаснейшая.

А потом для Михаила Илларионовича началась жизнь одинокая. Возлюбила Екатерина Ильинична дворцовые палаты. К ней даже император Павел благоволил, пожаловал орден Св. Екатерины. При Александре Михаил Илларионович в Петербурге губернаторствовал, впрочем, всего только два месяца, и был уволен «за болезнью, в отпуск на год». Вместо года прожил бобылем в своей деревне Горошки Волынской губернии более трех лет... Потом взлёт, назначение командующим двумя армиями. И Аустерлиц...

Дочери выросли, повыходили замуж, кроме младшей, Дарьюшки, но и у той служба – фрейлина императрицы.

Катенька, получавшая от дедушки письма или хотя бы приписочки к письмам матушке, ластилась к удивительному старцу. Она знала о его сражениях с турками, о его двух смертельных ранах. Ее приводил в восхищение генеральский мундир с лентой, с Георгиевскими крестами.

Елизавета Михайловна, глядя на дочь, головою покачала:

– У Катеньки в героинях не одна Роксанда, но и Жанна д'Арк.

– Военный народ, милая, красив на вахт-параде. – Михаил Илларионович погладил Катеньку по головке. – Война – грязь по колено, походы под дождем, а то и по льдам, как было в последней шведской кампании. Кровь, покалеченные люди...

Катенька сверкнула глазками.

– Я выйду замуж за генерала! Как моя бабушка, как моя мама.

– Наше семейство и впрямь генеральское! – Михаил Илларионович руками развел.

– Генерал-майорское! – засмеялась Лизенька. – Папа! Это ведь именно так. Мой Николай Федорович – хоть и дипломат теперь, но генерал-майор... У Анны – генерал-майор, у Екатерины – генерал-майор, да ведь и у Прасковьи – генерал-майор. Только статским. Матвей Федорович – тайный советник. Дело за Дарьей Михайловной.

– Ах, генеральши вы мои, генеральши! – Михаил Илларионович поднялся, подал руку Катеньке: Николай Федорович, распорядившийся ужином, пригласил к столу.

– Папа! – вспомнила Елизавета Михайловна. – От матушки письмо. Просит тебя за племянника, Пауля Бибикова. Не возьмешь ли ты его в адъютанты?

– Приказы Екатерины Ильиничны исполняю не только беспрекословно, но и опережая оные. Я еще с дороги послал нашему молодцу вызов. Павел Гаврилович уже в майорах. Мне свои люди здесь весьма надобны. Через недельку, надеюсь, будет.

Сели за стол и услышали соловья.

– Это вместо музыкантов! – обрадовался Николай Федорович.

Кутузов отбил пальцами дробь.

– Вот она, моя музыка.

– А матушка, должно быть, каждый день в опере! – у Лизоньки в голосе прозвучала обидчивая зависть.

– Екатерина Ильинична нынче увлечена трагедиями. Покровительствует блистательной госпоже Жорж. Эта Жорж даже государю вскружила голову.

– Папа! Жорж действительно – одно из чудес нашего времени. Я была только на двух ее спектаклях. Это незабываемо. Я знаю, Жорж у мамы в ближайших подругах, но не забыты и Боргондио, и танцор Дююр.

– Не из рода, а в род. Братец Василий Ильич у государыни Екатерины Алексеевны был дважды директор, театра и театрального училища...

– И у Гаврилы Ильича театр, свой собственный. Да нет, даже два театра – на Пречистенке и в Гребневе. А какой у него оркестр! Какой хор! Между прочим, Московским сводным хором руководит дядюшкин человек Данилка Кашин. Композитор.

– Ну а я разве не театрал? – поднял брови Михаил Илларионович. – Мой театр, правда, иного свойства.

– Да ведь так и говорят: театр военных действий, – поддержал тестя Хитрово. – Позвольте, кстати, полюбопытствовать, какие отношения у вас, Михаил Илларионович, складываются с новым визирем Ахмед-пашой?

– Ахмед-паша мне очень помогал в Стамбуле. У нас с ним были отношения самые приятельские. На сие приянство я денег не жалел.

– Полагаете, визирь пойдет на мирные переговоры?

– Придется в этом убедить моего друга. – Михаил Илларионович усмехнулся. – Я жду двух купцов из Тырнова, а друг мой тоже прислал своего тезку Ахмед-агу. Просит допустить к Пехлеван-паше, в Руцук. Я дал разрешение, сейчас это возможно. Перемещениями войск займусь по сухим дорогам. Самого же Ахмед-пашу я поздравил с возвышением в ранг первых особ Оттоманской империи. Помянул, разумеется, о нашем давнем знакомстве... Господи! Десять лет с той поры минуло! Сетую в письме на несчастные обстоятельства, разделяющие наши государства, и весьма налегаю на испытанную временем дружбу. Она-де находится

в противоречии с тем усердием и той верностью, которые мы оба должны чувствовать к нашим августейшим монархам.

– Прекрасный ход! – оценил Николай Федорович.

– Я вот о чем прошу озаботиться дипломатический корпус. Если переговоры начнутся, а я думаю, Ахмед-паша не решится на немедленное нападение, – вести их нужно будет здесь, в Бухаресте, подальше от расположения наших войск.

Говорили на французском языке, переходя на немецкий. Катенька с детства привыкла к немецкому, но она вдруг попросила:

– Дедушка, скажи мне что-нибудь русское. Я учу с мамой русский. Нам ведь скоро придется ехать в Петербург.

– Изволь! Вот тебе русская загадка, – сказал Михаил Илларионович по-немецки, а саму загадку по-русски: – Летит – молчит, лежит – молчит. Когда умрет, тогда заревет.

Катенька сдвинула бровки, видимо, не поняла. Перевел загадку на немецкий.

– Дедушка, это что-то сказочное. Это – мистика.

– Это – снег! – улыбнулся Михаил Илларионович. – Сегодня по русскому календарю Родион-ледолом и еще Руф. На Руфа дорога рушится. В России-матушке ручьи бегут, льды по рекам несет, а здесь – теплынь, соловьи.

– Дедушка! Как ты думаешь? Если жить в Зимнем дворце, зимы можно даже не увидеть? Этого ужасного русского холода? – Личико у Катеньки стало озабоченным.

– В Зимнем можно зиму переждать, – согласился Михаил Илларионович. – А если не подходить к окнам, то и не увидеть. В Зимнем к тому же есть внутренний сад, где цветы круглый год. Но зима, Катенька, чудо. Русское чудо. Зиму русские люди любят, и особенно, думаю, крестьяне. Зима дает мужику передых от работы. Все сказки, все песни русские зимой придуманы, на теплой печке.

– Зима румянит, – сказала дочери Елизавета Михайловна.

– Ах, вон как! – И Катенька дотронулась пальчиками до своих щек.

Заботы

Кутузов за первую неделю командования составил о себе в штаб-офицерах, сторонниках Ланжерона, представление как о начальнике бумажном, сторонящемся непосредственных армейских дел. Уже порхали с губ на губы иронические тонкие улыбки. Уже окрестили «миротворцем» и «турколюбом», а тут как раз прибыл из Петербурга юный Бибииков, коего генерал тотчас взял в адъютанты. Родственника поближе к себе, подальше от войны, от солдат.

Только на второй неделе командования Кутузов появился на учениях. Полк, стоявший в Бухаресте, построили для показа маршировки.

– Отставить! – Михаил Илларионович обошел солдат, здоровался негромким голосом, не по-военному, спрашивал: – Учат ли вас, братцы, стрелять? Мне нужны солдаты меткие. Турок вон сколько на наши головы.

Взял из рук солдата ружье, осмотрел:

– Жену так не люби, как ружье. Хочешь долго жить, ружье лелей нежнее крали сердца.

Приказал тотчас устроить стрельбище. Стреляли плохо, генерал никого не укорил, но сказал твердо:

– На погляд солдатушек приготавливаем, а им воевать.

И по всем частям Молдавской армии в тот же день был разослан приказ – ради пользы службы привести в надлежащее состояние оружие, солдат занимать стрельбою в цель, без промедления искоренить «те излишества, которые, озабочивая неприятным образом солдата и отягощая его, отклоняются от существа самого дела». Сказано витиевато и не прямо, но Кутузов своею волей отменял вахт-парады и возлюбленную последними двумя царями шагистику.

Солдаты, заставшие времена государыни Екатерины, учили молодых:

– Благо, когда в Русском царстве баба правит. Что Павел Петрович, что Александр Палыч – по рождению воины, а по воспитанию – немцы, им любезны фронт, растяжка, твердость шага. Михаил Илларионович – русский человек, закала суворовского. Ему подавай – победу. Матушка Екатерина в солдатскую учебу не входила, а вот за победы у неё – тот князь, этот граф, и слава на все времена.

Михаил Илларионович и штаб-офицеров не обошел вниманием. Появился на обеде.

– Винцо славное! Но отчего не жалуете цуйки?

– Бр-р-р! – передернул плечами приглашенный из Слабодзеи для доклада генерал-лейтенант Евгений Иванович Марков.

– Крестьянская чаше всего – бррр! – согласился Михаил Илларионович. – Но горячая, особо приготовленная... Господа, рекомендую! Повезло нам, господа! Прекрасная земля. Соловьи даже днем трелями балуют. Знать, и у них южная кровь... Обронил – южная кровь, а перед глазами храм Трех Святителей в Яссах. Какая соразмерность! Какой вкус в орнаментах! Римская церковь готикой превращает человека в муравьишку. Здесь иное. Здесь зовут в храм не на суд, на праздник.

Один из офицеров вдруг сказал, не скрывая раздражения:

– Ваше высокопревосходительство! Нынешняя весна действительно хороша, и нам известно, её благодатью турки пользуются с бешеной поспешностью. Не нагрянет ли новый их визирь на наши разбросанные дивизии уже недели через две? А ведь он соберет тысяч сто!

– Через две недели не успеет... В середине июня надо ждать в гости моего старого друга. – Кутузов улыбнулся. – Весна и нам в радость. Волы, подвозившие провиант, едва ноги таскали, теперь кормятся на травке, и вместо трех с половиной тысяч фур мы будем иметь не менее пяти тысяч.

Отведал кушанье, завернутое в виноградные листья.

– Вкусно! – И устремил свой здоровый глаз на смелого офицера. – Что до нашего положения и общего состояния... Против турок воевать нужно не многолюдством, но расторопностью.

Все так и посмотрели на главнокомандующего: это Кутузов-то расторопен! А у Михаила Илларионовича настроение, должно быть, поднялось. Пригубил вина:

– Турок надобно на войне изумлять, господа. Военные новости и неожиданности приводят их в такое смятение, что тотчас забывают о своем численном превосходстве и совершают ошибки поразительные. Вот тогда и примемся громить, рассеивать, да так, чтобы и собрать им было нечего, когда опомнятся.

Прикрыл здоровый глаз, но из-под ресниц видел: напускная государственная скорбь и раздражительность молодости спорхнули с лиц.

– Я приказал уничтожить крепость Никополь, – произнес фразу негромко, но вышло жестко, прибавил: – Жители оттуда переселятся в Турно. На очереди уничтожение крепости Силистрия... Есть и до вас дело безотлагательное. Прошу, господа, заняться им сразу же после прекрасного сего обеда... Булгары большою массою переселяются из-за Дуная в Турно. Многие из них изъявляют желание вооружаться и действовать с нами заодно. Я поручил генерал-майору Турчанинову переписать добровольцев, разбить на сотни и всю эту силу именовать болгарской командой. Чиновников над собою пусть они выберут по своему желанию, из своих же. Что же до вооружения? В Турно хранится много турецких боевых трофеев. Сие оружие и передадим новой команде. Вам, господа офицеры, надобно побывать также и в Журжи и в Калараше, где много булгар – сыщите среди них добровольцев, готовых войти в болгарскую команду для охраны левого берега Дуная.

– А кому содержать эти отряды? – спросили Кутузова.

– Я просил генерал-майора Белуху-Кохановского посчитать. Содержание одной сотни будет нам стоить 28 червонцами плюс серебром по два с половиною рубля на солдата. Деньги пойдут на крупу, соль, мясо... Платить будем летом, на зиму команды получают отпуск ради занятий домашними работами. Когда Турчанинов доложит о сформировании сотен и батальонов, нам нужно иметь наготове командный состав. Прошу сим делом озаботиться.

Когда Кутузов, отобедав, ушел, кто-то из офицеров пошутил:

– Глаз один, но глядит на все четыре стороны.

Михаил Илларионович в это время как раз доктору себя предоставил.

В тот же день он писал супруге:

«Я имею только время, мой друг, тебе сказать, что я здоров, кроме глаза, который отдыху не имеет и теперь в шпанских мухах. Детям писать, ей-богу, некогда. Боже их благослови...»

Руцук

Заботы Кутузова всегда были двух степеней: явные и скрытные.

Скрывать было от кого. Во-первых, от Петербурга: боялся вмешательства в военные дела императора Александра. И только во-вторых – от глаз противника.

За два месяца управления армией Михаил Илларионович похерил предписанное Петербургом кардонное расположение войск. Создал три крупные группировки. На правом фланге генерал-лейтенант Засс у Крайнова, на левом, в низовьях Дуная, генерал-майор Тучков 2-й. Тучков защищал Измаил, Браилов и преграждал отрядом флотилии вход в Дунай турецким кораблям. Центр армии был усилен гарнизонами Никополя и Силистрии. Крепость Силистрия, как и Никополь, была взорвана.

Маневрируя войсками, Кутузов перенес переговоры с визирем Ахмед-пашою из Руцука в Бухарест. Лытя туркам, в заседаниях участвовал сам, выигрывая время.

Никому не открывая замыслов, ни Барклаю де Толли, ни своему штабу, Главнокомандующий Молдавской армии построил в считанные дни два моста, через Дунай и через Ольту.

Прав был штаб-офицер, понявший, что единственный глаз Кутузова смотрит сразу на все четыре стороны. Уже первого апреля, только-только вступив в командование, Михаил Илларионович отправил письмо в Париж послу Куракину, уведомляя о своем назначении и с просьбой сообщать «известия обо всем, происходящем в Европе». Подобные письма полетели в Вену к графу Штакельбергу и в Петербург к канцлеру Румянцеву.

Визирь Ахмед-паша, собравший в Шумле под своим знаменем шестьдесят тысяч пехоты и конницы и сосредоточивший в Софии двадцатитысячный корпус Исмаил-бея, все еще не решался начать военные действия, а Кутузов уже знал: турок нужно ждать под Руцуком, и весьма скоро.

По донесениям послов, по письмам канцлера Румянцева Михаил Илларионович имел перед собою карту политических вождедений Европы и Турции.

От Швеции, где Наполеон посадил на престол своего маршала, веяло покоем. Король – не маршал, у короля иные заботы. Надежды Австрии на самостоятельность зависят от России. Вена – друг ненадежный, а всё – не враг. Наполеон о дружбе распинается в каждом своем послании к Александру, но, как сообщал канцлер, дружба Наполеона не от его расположения к государю, а от худых успехов французской армии в Гишпании и Португалии.

Что же до турок, Михаил Илларионович имел донесения из самой ставки визиря: советники Бонапарта представили Ахмед-паше план уничтожения русских дивизий за Дунаем, дабы вторгнуться в пределы Александровой империи и не только оттеснить северного соседа от Дуная, но при счастии вернуть Крым.

Приготовляя армию к отпору туркам, Кутузов отправил Барклаю де Толли свои наметки будущей кампании. Концепция этих наметок отвечала законам оборонительной войны.

«Может быть, что скромным поведением моим, – писал Кутузов, – ободрю я самого визиря выйти или выслать по возможности знатный корпус к Разграду или далее к Руцуку, и, если таковое событие пощастливится, тогда, взяв весь корпус графа Ланжерона и весь корпус Эссена 3-го, кроме малого числа, который в Руцуке остаться должен, поведу я их на неприятеля; на выгодном для войск наших местоположении... разобью я его и преследовать могу... верст до 25-ти без всякого риску».

Свой стратегический замысел главнокомандующий скрывал завесой тактических действий под Руцуком, еще только предполагаемых. Боялся, помешают. У царя в советниках Фуль, знаток военной истории, мыслитель-генерал, всю жизнь провоевавший в кабинете.

Ради России, русского ради солдата и здравого смысла, Кутузову нужно было перехитрить визиря, его советников французов, стало быть, Наполеона, и своих военных гениев: Фуля,

Баркляя де Толли, Александра, великого князя Константина, всю немецкую военную науку, всю неметчину, заслонявшую русское от России.

2-го июня турецкая армия двинулась из Шумлы к Разграду.

– Наконец-то! – порадовался Кутузов и 4-го выехал из Бухареста к армии в Журжу.

Ради ободрения турок и своего друга Ахмед-паши главнокомандующий Молдавской армии ни единым выстрелом не обеспокоил марша отборной султанской кавалерии, артиллерии, пехоты.

Покуда турки осваивались с ролью победителей, занимая территории, бывшие под опекой русских, Михаил Илларионович собирал вокруг себя все свои силы. Сосредоточил 29 батальонов пехоты, 40 эскадронов конницы, 114 орудий. Пятнадцать тысяч против шестидесяти. Пушек у визиря было поменьше – 78.

Дав армии передышку после долгого перехода, Ахмед-паша двинулся из Разграда на Рушук. Лагерь разбил в двадцати верстах, возле местечка Кадикиой.

– Ну, слава богу! – Кутузов, выслушав донесения, перекрестился, позвал Бибикова. – Друг мой, я покуда допишу письмо Николаю Петровичу, а ты позови ко мне трех адъютантов и скажи писарю, пусть заготовит приказы Ланжерону, Эссену, Воинову – в сию же ночь перейти на другой берег Дуная. Всей нашей Главной квартире тоже изготавиться для похода. Устал от бумаг, пора и повоевать.

Графа Николая Петровича Румянцева, канцлера, благодарил в письме за депешу о дипломатических сношениях России с Францией, Австрией, Швецией. «Сведения сии будут не токмо для меня важны по неограниченной моей любви к отечеству, – писал Михаил Илларионович, – но и нужны для соображений моих по всемиростивейше вверенному мне главному начальствованию над войсками Его Императорского Величества в здешнем крае.

Михайла Голенищев-Кутузов».

Отдавши приказы о переправе войск для соприкосновения с противником, пошел в церковь.

В тот день поминали князей-воинов блаженного Игоря Черниговского и Киевского благоверного Феодора Ярославича, брата Александра Невского.

Отстоял вечерню, помолился князьям:

– Благословите послужить оружием России, матушке нашей.

Армия перешла по мосту и расположилась близ Рушука.

Утром стало ясно: позиция для большого сражения малопригодная. Кутузов отправил квартирьеров искать нечто лучшее, сам же объехал все три корпуса: корпус Ланжерона, кавалеристов Воинова, отряд Эссена 3-го. У Эссена под командою было всего два полка, Архангелогородский и Шлиссельбургский.

– Ну вот, солдатушки, – говорил Кутузов своему воинству, – стрелять вы, постаравшись в учениях, стали получше, а храбрости нам занимать ни от кого не надобно, своя, слава богу, природная. Потерпеть придется, а перетерпевши, будем гнать супротивников наших в хвост и в гриву и по шеям.

Квартирьеры указали главнокомандующему новую позицию, верстах в пяти, в сторону деревни Писанцы, где стояла конница Ахмед-паши.

Кутузов сначала выдвинул вперед корпус Воинова. А уже на рассвете следующего дня казаки аванпостов – полторы тысячи сабель – были атакованы пятью тысячами конных турков. Воинов подкрепил казаков пятнадцатью эскадронами. С левого фланга послал чугуевских улан – десять эскадронов, с правого – ольвиопольских гусар.

Сшибка была короткой, кровопролитной. Турки отхлынули, не сумевши взять пленных.

– Теперь они будут собираться с духом! – сказал Кутузов своим командирам.

Армия перешла на новую позицию.

Главнокомандующий шурил глаз на открытую местность, морщился. Оба фланга упирались, правда, в овраги, в виноградники, но сие тоже на руку Ахмед-паше.

– Скверновато, – поделился впечатлениями с Бибиковым и Кайсаровым.

Распорядился построить корпуса Ланжерона и Эссена в девять каре двумя линиями ан-эшикье, кавалерия Воинова составила третью.

Объехал все три линии, проверил, хорошо ли кормлены солдаты. Помолился с егерями.

– На ваши пули у меня большая надежда.

В Шлиссельбургском полку встретил солдата, с коим брал Измаил.

– Помнишь вал? – спросил Кутузов старослужащего.

– Как не помнить, ваше превосходительство! От свинца темно было над головой.

– Уцелели мы с тобой, браток! – Кутузов обнял сослуживца. – Побьем Ахмед-пашу, приходи ко мне, вспомним былое. Скажешь, коли что, по приказу генерала от инфантерии.

– За Измаил-то вашу милость, помню, в генерал-поручики произвели, Георгием наградили.

– Бог нас жизнью наградил... Жду тебя, солдат Петухов.

Обомлел старослужащий.

Когда Кутузов уехал, офицеры к Петухову:

– Неужто с Измаила тебя помнит?

– Ну, как же не помнить! На том валу нам – ого! – как досталось. Он же Кутузов.

– Кутузов, – соглашались с Петуховым его товарищи и сурово советовали: – Смотри, не подведи.

– Как это? – не понял Петухов.

– Да так – уцелей. Турок-то против нас вчетверо.

Весь день двадцать первого июня турки готовились к сражению. Ахмед-паша вывел армию из лагеря и подтянул к русским позициям. Теперь только две версты разделяли противников.

Кутузов прикинул и нашел изъяны в своей позиции: у конницы Воинова мало простора. Посему выдвинул пехотные каре, а потом и пушки на добрые полверсты. В Рущуке оставил шесть батальонов.

– Завтра, Пашенька, – сказал Бибикову.

Пробудился Михаил Илларионович в пять утра. Затылок, слава богу, не ломит, даже боли в спине оставили. Выпил кофе, съел пару бутербродов с сыром.

В шесть блеснули с земли молнии: все семьдесят восемь турецких пушек начали обстрел русских позиций.

– Помолчим, – приказал Кутузов своей артиллерии.

Не добившись ответа и, может быть, переоценив подавляющую силу огневой мощи, турки прекратили обстрел.

Мгновение, другое – и вот она, лавина конницы.

– Ахмед-паша решил смести нас единым взмахом своей сабли. – Кутузов покачал головой. – Всё то же: пестрит в глазах от халатов, от знамен. Безумная отвага!..

Турки густою массой шли в лоб, в центр, на батарее и на оба фланга. Михаил Илларионович отвернулся от поля боя, глянул на Бибикова:

– Принеси мне, голубчик, стул. Дело будет долгое.

Воздух качнулся от единого, в сто жерл, рёва русских пушек, и тотчас ружейный залп, второй, третий. И снова пушки, теперь не столь слитно, но как бы поспешая друг за другом. Вопли искалеченных людей, и вся красота напора, ярости, счастья близкой победы – в считанные минуты превратилась в россыпь бегущих.

– Наступают едино, спасаются всяк по себе! – Кутузов привскочил со стула, смотрел в зрительную трубу.

Турки прикрывали отступление огнем. По правому флангу било не менее полусотни пушек. И вот оно, чего опасался Михаил Илларионович: снова густо и стремительно пошли во фланг пехота, а потом и конница.

– Что значит – много войска! – Кутузов подозвал двух адъютантов. – Ты, Кайсаров, дружок, скачи в третью линию. Веди к Эссену драгун Лифляндского полка. А ты, Пашенька, кликни егерей тридцать седьмого. Видишь сады? Пусть по садам сим россыпью, и чтоб каждая их пуля – в цель.

Архангелогородский и Шлиссельбургский полки встретили турок пушками и ружейными залпами. Подоспели егеря, залегли между яблонями, пошли снимать конников одного за другим. Но турецкая пехота лощинами подобралась к позициям, и тогда Эссен ударил в штыки.

Каждый турок в душе герой, но когда прет неумолимая, смертоносная стена, велика ли доблесть быть заколотым?

Турки бежали. И оба русских полка из лощины в лощину шли у них на плечах, убивая штыками тех, кто был внизу, и доставая пулями бегущих в гору. До Кадикиой гнали русские солдаты уничтоженного страхом неприятеля. Из турецкого лагеря грянули пушки, и генерал Эссен приказал отступать.

– Однако ж до победы далеко! – Кутузов послал Бибикова к Воинову. – Пусть подтянет конницу к левому флангу.

Штабники поглядывали на старого воителя с высока своей молодости: в провидца играет. И было по их. Турки, перестроившись, снова шли на правый фланг, укрываясь от пушек в лощинах.

Атака за атакой. Третья, четвертая, пятая.

И тут заговорили их пушки на левом фланге. Воистину тьма – десять тысяч конников обрушили удар на корпус Ланжерона. Прорвавшись между каре первой и второй линии, турки смели гусар Белорусского полка, посекали и отбросили со своей дороги кинбургских драгун. Оказавшись в тылу, разделились на две колонны: одна устремилась к Руцуку взять город, отрезать русские войска от моста, другая попыталась уничтожить конницу Воинова.

Но хорошие замыслы нужно уметь воплощать. Успех притупляет осторожность.

Навстречу турецкой коннице из Руцука выступили все шесть батальонов. Не защищались, атаковали.

На другую колонну турок, теснившую генерала Воинова, напали пришедшие в себя кинбургские драгуны. Их вел в спину туркам полковник Бенкендорф. Первым из своих рубанул саблей турка.

Вражеская конница в панике брызнула по сторонам, и генерал Воинов не упустил счастливого мгновения. Ударил.

Натиск казачьих, уланских, драгунских эскадронов смешал турецкие ряды. Общая рубка распалась на эпизоды, и в каждом турки уступали.

Первая турецкая колонна не выдержала натиска, началось бегство. А бегство и храбрых увлекает в свой водоворот.

Потерявши несколько сотен, турки укрылись за высотой, разбираясь на сотни и строясь.

– Павлуша! Скорее, дружок!

Кутузов приказал нескольким полкам из второй линии правого фланга и всему левому флангу вместе с кавалерией пасть сверху на головы туркам.

Вместо атаки аскерам Ахмед-паши пришлось искать спасения. Таявшая на глазах конница – лучшее, что было у султана – мчалась укрыться за редутами Писанцев. Бежала пехота. Бежать с ружьями, с саблями тяжело: бросали, лишь бы живу быть.

Кутузов позволил преследовать противника до десяти верст и, дабы не потерять людей под пушками укреплений, приказал отступить. Сидя на складном стуле, Михаил Илларионович обедал. Ему подали курицу, хлеб и вино.

Спросил штаб-офицеров:

– Где Бибиков?

– Его видели в Ольвиопольском полку. Убило командира эскадрона, и господин майор повел их в бой.

– Коли жив, так и слава богу!

Съевши всю курицу, Михаил Илларионович в отличном настроении приказал подать перо, бумагу и начертал приказ по случаю победы. Поблагодарив армию за твердость, в коей «не уступили нигде ничем неприятелю, – командующий заключал: – 22 число июня пребудет навсегда памятником того, что возможно малому числу, оживленному послушанием и героизмом против бесчисленных толп, прогнать неприятеля».

Уже поздно вечером Михаил Илларионович, не откладывая доброго дела на завтра, принялся за работу приятнейшую: представлял к наградам особо отличившихся. Среди первых помянул Бенкендорфа, представил к Георгию 4-й степени.

Ночью прибыли генералы на совет.

– Не понимаю, какие могут быть иные рассуждения? – изумился Ланжерон. – Нужно завтра же, если не сегодня, напасть на турок и добить их.

Эссен поддержал Ланжерона:

– Турки напуганы и серьезного сопротивления не окажут в сии первые дни своего позора, смятения. Мы можем загнать их в Шумлу.

– Не отступать же, коль победили?! – весело сверкал глазами герой дня Воинов.

– Свои потери не посчитали, – сказал Кутузов, когда все посмотрели на него, ожидая приказа. – Убитыми, ранеными убыль наша превышает полтысячи.

– В таком-то сражения! – воскликнул Ланжерон.

– Сражение было жаркое, – согласился Михаил Илларионович и долго смотрел на юное лицо одного из своих адъютантов. – Потери Ахмед-паши, то, что успели посчитать, около четырех тысяч. Пусть все четыре и даже пять. Но четырехкратное численное превосходство противника над нами сохраняется. Да не в том беда. Если пойдем за турками, то, вероятно, Шумлы достигнем, вы правы, генерал Эссен. Вот потом что станем делать? Холодное время года не за горами. Придется возвратиться на зимние квартиры, как и в прошлые годы, и визирь объявит себя победителем. Иное нам пристало. Моего друга Ахмед-пашу следует всячески ободрить, и он снова к нам пожалует. Приказываю отступить.

Ошеломление отобразилось на лицах генералов и офицеров.

– Впрочем, – сказал Кутузов, – позволяю собрать трофеи, похоронить убитых. Лагерь у нас хороший, сады кругом.

Молодым офицерам одноглазый старец в генеральском мундире, еще днем бывший за отца родного, казался теперь зловещим. Отступить победив?! Может, еще и Руцук оставить?

Как в воду глядели.

Через три дня несколько башен в крепостной стене Руцука были взорваны, и армия, обрастая многими тысячами беженцев болгар, переправилась на левый берег Дуная.

Военному министру Кутузов объяснял свой странный для всех поступок: «С моими 29 батальонами я не мог идти атаковать визиря во всех его укреплениях – у него несколько укрепленных лагерей до Шумлы – ибо я жертвовал бы тогда остатками моей армия, рисковал погубить их и быть отрезанным от Руцука».

Странный полководец

– Каков, однако, этот Кутузов, почитающий себя за лучшего ученика нашего генералиссимуса! – Николай смотрел на брата Михаила, выгнув правую бровь, и так смотрел, будто это он, Михаил, был ужасным Кутузовым. – Разбить врага наголову и бежать от него?! Император показывал письмо графа Ланжерона нашему Опперману. Граф пишет, что мог бы одним своим корпусом добить визиря.

– Пятью – семью тысячами? – Михаил устремил взгляд мимо брата.

– Но Кутузов-то побил пятнадцатью – шестьдесят!

– А крепости? Возможно ли осаждать крепости столь малыми силами?

– Ах! Ах! Ах! – взъярился Николай. Неправым себя он еще ни разу не посмел признать. Ни в большом, ни тем более в малом. – Крепости! При чем тут крепости? Турецкую армию была возможность разбить, рассеять. Впрочем, я об этом даже говорить не хочу. Твой Кутузов – осёл. Старый осёл!

Михаил со старшим братом не спорил. Они, как всегда в свободные часы, играли в солдатики.

Ненавистная латынь, может быть, впервой доставила братьям радость. Им задали перевести извлечения из римских историков. Тексты о древней Ассирии. Михаил перевел письмо Белушезиба царю Асархаддону, Николай – царя Ашшурбанипала. Эти цари воевали друг с другом три тысячи лет тому назад. Перевод Михаила гласил: «Когда звезда засияет во время восхода солнца подобно факелу, а на закате побледнеет, вражеская армия совершит жестокое нападение. Когда ложный ветер подыметя внезапно и будет продолжать подыматься, превратится в сильный ветер и из сильного ветра вырастет в бурю, настанет день разрушения. Властитель, в какой бы поход ни отправился, обретет богатство. Хотя царь послал своим войскам приказ: “вступайте в глубь страны Манна”, все войска да не вступят. Пусть конница и дакку совершат нападение на киммерийцев...»

Войсками Асархаддона командовал Михаил.

– Да будет тебе известно, царь царей, слово «дакку» означает «вспомогательные войска», но у меня они ударные и поставлены впереди.

Николай прочитал свой текст:

– «Когда Шанамма окажется впереди, приблизится к Белу, сердце страны должно быть довольно. Шанамма – это Марс. Это благоприятно для царя, моего господина. Когда Марс, достигая свое в точки, потускнеет и его сияние станет бледным, в этот год царь Элама должен быть твоим слугой. Когда Марс станет при своем появлении маленьким и бледным и подобно вечерней звезде особенно тусклым, он окажет милость Аккаду. Силы моего войска устоят и истребят врага».

– Выходит, астрологи халдеи нам обоим предсказали победу! – воскликнул Михаил. – Где же истина?

– У истинного Бога, у Христа! – Николай, довольный своим высказыванием, смотрел на брата с насмешливой жалостью. Николай в восторге от своих высказываний.

– Начнем, – Михаил строил дакку перед авангардным полком Ашшурбанипала. – Моя конница всею массой устремляется на правый фланг твоих войск. Мы уже в тылу у тебя. Моя конница истребляет твою пехоту.

– Чепуха! Полная чепуха! – Николай был красным, глаза распахнуты, будто съесть хотели. – Здесь у меня сил немного, но мои солдаты выстраиваются в черепаху. Твоя конница бессильна нанести мне даже самый малый урон.

– Но ассирийцы не знали «черепахи». «Черепаха» – римское изобретение.

– Хорошо! – Николай, хватая своих солдат в центре и смахивая солдат Михаила, расчленил его войско надвое. – Удар Наполеона! В центр и в обхват!

– Но почему ты снимаешь моих солдат? Они могут отразить нападение. Выстоять!

– Перед Наполеоном?

– Я уничтожу твои фланги.

Николай захохотал:

– Сколько угодно! Моя армия поразит твою армию в сердце. Всё! Я его – вырезал из твоей груди! Твоей коннице, смявшей мои фланги, остается искать спасения. Пехоты у тебя не осталось. Царь пленен! Он же был в центре.

Николай всё ронял и ронял воинов Асархаддона.

– Довольно! – рассердился Михаил. – Пусть я разбит, но ты солдатиков не ломай.

– Великодушные великих властителей мира беспредельно. Я оставляю тебя, Асархаддон, на троне. Возьму себе твое золото, зодчих, строителей и еще всех лошадей.

И тотчас принялся объяснять, сколь мудро и прозорливо поступает:

– Без золота войска не купишь и не соберешь. Без коней сообщение между городами и провинциями станет долгим. А без зодчих, без строителей – не возвести тебе новых крепостей и старых не поправить. Мудро?

– Мудро, – согласился Михаил.

Пришел Ахвердов.

– Слышу, вы о мудрости беседуете? Похвально. Императрица-матушка приглашает ваши высочества к себе.

Николай медленно поднял глаза на воспитателя, медленно опустил, шепнул брату:

– Она узнала!

Мария Федоровна встретила сыновей молча, стоя. Ее рука лежала на толстой книге. Это была Библия, переведенная на немецкий язык Лютером.

Братья пожелали матушке здоровья, а в ответ только взгляд, огорченный, но твердый.

Михаил опустил голову, Николай голову вскинул.

– Я вижу, вы, сын мой, не чувствуете ни раскаянья, ни угрызений совести.

– Меня мужик оскорбил! – тонко, на взрыде, выкрикнул Николай.

– Оскорбил тем, что указал на непорядок в вашем мундире? О вас же заботясь, предупредая ваше появление перед фронтом в виде неподобающем?!

– Я пропустил одну пуговицу. На непорядок мне должны были указать мои воспитатели, но не мужик!

– Какой мужик?! – Мария Федоровна, неслышанное дело, подняла голос. – Это был солдат. Вы понимаете значение солдата для трона вашего брата, для любого трона?! Особенно в наши дни, когда ужасная война неминуема. Вы должны знать, ваше высочество, что сказал Его Величество Александр, отпуская посла Франции Коленкура, герцога Виченцкого. Его Величество сказал: «Французские солдаты храбры, но менее выносливы, чем наши: они легче падают духом. Я первым не обнажу меча, но я вложу его в ножны последним. Я скорее удалюсь на Камчатку, чем уступлю мои губернии, подписавши в моей завоеванной столице мир, который был бы только перемирием». Мне эти слова не нравятся. Я желаю иного императору России. Но сообразите, о чем он говорил. О солдате! Это солдаты, в случае страшного несчастья, должны с многотерпением отступить хоть до Камчатки, чтобы потом пройти сей путь длиною в тысячи и тысячи верст, уничтожая измученного насмерть врага. Солдат, затаивший на царя обиду, столь невероятного подвига не сможет совершить.

– Но я не ударял солдата, я его за ус дернул! – промямлил Николай, потухая, опускал глаза перед глазами Марии Федоровны.

– Я ожидаю, что вы принесете извинения оскорбленному вами.

– Извинения?! – вскрикнул Николай.

– Вот именно... В далеком будущем я вижу вас во главе вашего Отечества. Вы обязаны воспитать в себе дух смирения. Смирение в России почитается за первую добродетель.

Николай щелкнул каблуками:

– Я – готов. Я смирился.

– Смирение не то же самое, что держать спину прямо. Смирение – состояние души. Потом вы это поймете... – Матушка открыла Библию, прочла: – «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, – потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота... Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом».

Только на третий день после беседы с императрицей-матерью Николай искал и нашел обиженного солдата. Сказал, глядя солдату в лоб:

– Прости меня, братец.

– И! Ваше высочество! – улыбнулся солдат. – Я ведь в счастья, что ваше высочество до меня своею ручкой дотронулись.

– Ну тогда, братец, позволь поцелую тебя! – Поцеловал в обе щеки и дал несколько ассигнаций, не поглядев, какого достоинства. – Водки с товарищами выпейте, и, бога ради, прости.

До слезы сам себя прошиб.

Расплакался же посреди ночи, пробудившись. В смирении была, оказывается, сладость, до сей поры неведомая.

Царствование на деле

В шесть часов утра император Александр был уже в своем кабинете. Просмотревши гору бумаг, назавтра он находил на столе такую же. Работа казалась ему Сизифовым трудом, но царь прикован был к ней своей монаршей цепью на груди, придавлен бармами и самою шапкой Мономаха.

В марте Александр снова ездил в Тверь к Екатерине Павловне обсудить самые неотложные вопросы государственного устройства, надвигающуюся неотвратимую войну с Наполеоном.

Екатерина Павловна в советах хватала чересчур далеко. Она согласилась: нужно в ближайшее время объявить рекрутский набор, норма – одного с сотни, и тотчас прибавила:

– Чтобы поставить Наполеона на место, брать надобно десять человек со ста. Тебе нужно усилить армию не ста тысячами – у Наполеона под ружьем 700 или 800 тысяч солдат – а миллионом.

– Но ведь миллион нужно обмундировать, обучить, вооружить. Его кормить ведь надобно, миллион! Губернии, где встанут войска, оголодают за неделю... Тогда жди бунта.

Теперь, просматривая донесения своего единственного надежного разведчика, полковника и флигель-адъютанта Александра Ивановича Чернышёва, Александр понимал: сестра права. Нужно увеличить армию на миллион.

Год тому назад Чернышёв сообщал: Наполеон заявил генералу Врангелю, прибывшему от прусского короля с известием о смерти королевы Луизы: «В 1814 году, имея четыреста тысяч солдат, я возобновлю войну». Вопросы с кем – не существовало. Европа, с Пруссией, с Австрией, – под его властью. С Испанией война не утихает, с Англией тоже не кончалась. Остается Россия. И четыреста тысяч у него уже наготове.

Известия достоверные. Чернышёв завербовал в корреспонденты некоего Мишеля, офицера генерального штаба французской армии. Два раза в месяц военный министр подносит Наполеону «Отчет о состоянии французской армии». В отчете фиксируются все изменения в численности отдельных частей, во всех их перемещениях, обо всем офицерском корпусе, с назначениями и отставками. Сей «Отчет» проходил через стол Мишеля, и его копия тотчас оказывалась в руках Чернышёва.

Просмотрев последнюю сводку о войсках Наполеона, присланную из Парижа, Александр открыл другую папку и прочитал пересказ письма Наполеона королю Вюртембергскому: «Войне быть. Война начнется против личной воли императора Александра и его, императора Наполеона. Современный мир – это оперная сцена, которой управляют машинисты-англичане».

В этой же папке был доклад генерал-адъютанта графа Шувалова Павла Андреевича о переговорах с Наполеоном в Сен-Клу. «Я не хочу воевать с Россией, – сообщал Шувалов сказанное французским императором. – Это было бы преступлением, потому что не имело бы цели, а я, слава богу, не потерял еще головы и еще не сумасшедший, что пожертвую, быть может, 200 тысячами французов, чтобы восстановить Польшу».

Александр отложил лист, встал, подошел к окну. Нева. Державная Нева. Наполеон сражений не проигрывает. Но власть-то над миром у Бога! Бонапарт свою волю почитает за верховную. Аттила, Чингисхан, хазары, половцы, поляки... За грехи послан? За чьи? За грехи народа или же за грехи царя?

Тень птицы скользнула по стеклу, и, поспевая за тенью глазами, Александр увидел... Напряг виски, напряг глаза – разумеется, ничего. Но душа была правдивее его глаз, его ума. Букли изобразились. Букли парика и смутно, вернее, слишком быстро и как бы издали – лицо.

– Я устал, – сказал себе Александр, садясь, однако ж, за стол. – Каждый день – Прометеевы испытания... Итак, господин Бонапарт, вы не сумасшедший.

«Я не могу воевать: у меня 300 тысяч человек в Испании, – читал Александр пламенную исповедь своего друга. – Я воюю в Испании, чтобы овладеть берегами. Я забрал Голландию, потому что ее король не мог воспрепятствовать ввозу английских товаров, я присоединил ганзейские города по той же причине, но я не коснусь ни герцогства Дармштадского, ни других, у которых нет морских берегов. Я не буду воевать с Россией, пока она не нарушит Тильзитский договор».

Своим исповедям Наполеон, должно быть, верит, когда их произносит. Вот только дела его всегда иные.

Далее шло о выгодах дружбы с Францией, с ним, с Наполеоном, бичом Европы.

«Сравните войну, которая была при императоре Павле...» – У Александра застонало сердце, ум обволокло видением в окне.

– Отец! Я не желал! Я не желал!

На лбу бисером выступил пот. Александр словно бы видел сей бисер. «Не желал» – это было в его сердце. А скорее, даже не в нем. Там, во тьме галактики...

Александр достал платок, протер лицо. Поднес бумагу к глазам.

«Сравните войну, которая была при императоре Павле, с теми, которые были потом. Государь, войска которого были победоносны в Италии, обзавелся после этого только долгами. А император Александр, проиграв две войны, которые вел против меня, приобрел Финляндию, Молдавию, Валахию и несколько округов в Польше».

Разумеется, и без угроз не обошлось.

«Русские войска храбры, – Наполеон подслащивал пилюлю, – но я быстрее собираю свои силы».

Следующая тирада относилась к Шувалову:

«Проезжая, вы увидите двойное против вашего количество войск. Я знаю военное дело, я давно им занимаюсь, я знаю, как выигрываются и как проигрываются сражения, поэтому меня не запугать, угрозы на меня не действуют».

Вот она, змеиная изворотливость корсиканца. Его не запугать, но кто ж тогда грозит двойным превосходством в солдатах?!

Вошел адъютант: приехал генерал Густав Мориц Армфельд. Враг Наполеона, он бежал из Швеции и вступил в русскую службу.

– Ваше Величество, я с хорошей вестью.

Армфельд был громадный, как викинг, белокурый, голубоглазым и такой же суровый – до первой улыбки. Улыбаясь, он терял воинственность и становился похожим на солнце.

– Мне передали из ближайшего окружения наследного принца Карла Юхона, что он просит Ваше Величество о личной встрече, но так, чтобы она была достоянием самого узкого круга.

– Карл Юхон уже стал совершенным шведом? – улыбнулся Александр.

– Жан Батист Жюль Бернадот из рук Наполеона получил жезл маршала, титул князя Понто-Корве, титул наследника короля, но он был соперником Бонапарта во время директории. Бернадот, ставший Карлом Юхоном, почитает Наполеона за грозное облако, прибавляя, что грозы недолговечны.

– Гроза, однако ж, накрыла всю Европу и движется теперь на Восток.

– Маршал одержал для Наполеона победы самые внушительные, но он не даст бывшему своему главнокомандующему ни единого солдата. Более того, Карл Юхон, в случае нашествия Наполеона на Россию, выступит на стороне Вашего Величества.

– Что ж, это шаг вперед. В декабре прошлого года мой представитель встречался с принцем и услышал от него твердое обещание никогда не выступать против нас... А ныне уже и помощь обещана. Принц чувствует неуверенность в своем завтрашнем дне?

– Кто может чувствовать себя уверенным, если в Старом Свете хозяйничает, и так, как ему только вздумается, Наполеон?

– Да, это верно, – согласился Александр. – И, однако ж, маршал не робеет перед кумиром войны.

– Как точно сказано! Именно кумир войны, а Франция – страна любви и самых прекрасных устремлений – стала ее кумирней.

– Что в Финляндии? – спросил Александр. Несколько рассеянно, будто они вели светский, ни к чему не обязывающий разговор.

– Финны всегда желали самостоятельности, но быть под великою Россией более льстит их самолюбию, нежели зависимость от равной по территории Швеции.

– Моя власть в Финляндии лишена какой-либо обременительности, – твердо сказал Александр. – Нам не столько нужна сама Финляндия, сколько удаление от границы Санкт-Петербурга. Тем более что, не владея северными берегами Ладоги, город оказывался в окружении.

– Бернадот не собирается поднимать вопроса о Финляндии. Ему достаточно быть королем такого древнего государства, как Швеция,

– Я помогу маршалу присоединить Норвегию, – быстро сказал Александр. – Думаю, это хорошая компенсация за утрату Финляндии.

Оба поспешили перевести беседу на пустое.

– Третьего дня, как у вас принято говорить, я обедал у обер-гофмаршала Александра Львовича Нарышкина, – сказал Армфельд. – Этот гурман достойно возглавил бы первую десятку самых изощренных европейских обжор.

– Но у него и в театре объеденье! – подхватил Александр. – Вы бывали на спектаклях мадемуазель Жорж?

– Как раз вчера! Нежное по виду существо, но какая сила!

– Да, она прекрасна! Во всех своих обликах прекрасна. В облике тигрицы и в облике горлицы. Жорж бесконечна, как Млечный Путь, и вдруг оборачивается скалою, которую обтекает со всех сторон океан, разбиваясь о нее вдребезги и лилая сию неприступность.

– Ваше Величество, знали бы ваши поэты, кто в России среди них первейший!

– Ах, дорогой Густав! Лавры Нерона не по мне. Я благодарю моих учителей, ибо способен, кажется, отличить глубинно прекрасное от фальши пустоты в красивой драпировке.

Беседа была закончена. Армфельд откланялся и вдруг вспомнил:

– Я еще о Сперанском собирался поговорить... Но это в следующую аудиенцию, коли на то будет милость Вашего Величества.

– А что Сперанский? – не отпуская с лица улыбку, спросил Александр.

– Он столь верный поклонник Наполеона...

– Это у него есть, – согласился Александр. – Впрочем, как и у Румянцева, канцлера нашего.

Швед ушел, и работать далее сил уже не было. Александр решил посетить покои императрицы.

Елизавета Алексеевна была за столом, записывала в дневник вчерашний день. Вечером императрица посетила мадемуазель Жорж. У актрисы были самые близкие ценители ее таланта. Генерал Хитрово, князь Гагарин. Играли в лото, а потом Жорж читала.

«Я очень рада, что видела ее в комнате, – записывала Елизавета Алексеевна. – Однако я бесконечно предпочитаю видеть ее на сцене, там полнее иллюзия. В комнате же приходится заставляя свое воображение ставить себя рядом с нею на сцену, и едва только успеешь достичь

этого, – как тирада, и ея очарование оканчивается. Эта комнатная декламация, по-моему, является областью тех, кому приятно видеть как можно ближе красивую женщину».

Елизавета Алексеевна перелистнула несколько страниц дневника и перечитала запись начала года: «Жорж заставила меня в конце концов предпочитать всяким иным представлениям трагедию, которая мне до сих пор казалась скучной».

Это было правдой, императрица не пропустила ни единого спектакля, где играла Жорж. «А что же мне еще остается?» – закрыла дневник, подошла к зеркалу.

Александр ужасен. Он заставил ее лечь в постель к своему другу Чарторыйскому, он поощрял сию интрижку. Он ею наслаждался.

И вот – полное неприятие. Ты была с Чарторыйским, я живу с Нарышкиной. Об этом знают все. Она, императрица, изгнана из постели венчанного супруга.

И вдруг увидела Александра. Он смотрел на нее, отраженную зеркалом. Он оценивал её. И это так и была. Он оценивал.

Стан словно бы только-только расцветающей женщины, но округлости совершенные, невинность в синеве глаз.

Она чуть вспыхнула, и он увидел главное: страдание на дне этого синего, любящего.

Александр хотел посмеить Елизавету – и забыл приготовленную остроту. Стоял беспомощный, словно его окунули в вину, от которой стыдно, но не тем стыдом, когда жарко вспыхивают щеки, уши. Стыдом причиненной другому боли, ни в чем не повинному.

Сказал ненужное, совсем ненужное в этой комнате:

– Наш Коленкур был принят Наполеоном и, представьте себе, отчитан за уважение к России. Ко мне и к вам.

Скифы и сарматы

Война была далеко. Россия войны не ощущала.

В Москве летала карусель, в Москве проедали состояния... И в Муратове шло веселье без роздыху.

Жуковский ехал через Мишенское – взять нужные книги для работы, но о работе в Холхе и думать было нечего. У Екатерины Афанасьевны гостили Плещеевы, а где Александр Алексеевич, там театр. Певунья Анна Ивановна, родившая супругу шестерых детей, была такая же затейница и выдумщица и, разумеется, прима во всех спектаклях.

Приезду Василия Андреевича обрадовались, но как своему, обычному.

Екатерина Афанасьевна, обнимая брата, ни словом не обмолвилась о «проблеме». Она даже делала вид, что не следит за Машей и Жуковским: коли договорились, будь любезен исполнять обещанное, не то...

Саша в свои шестнадцать красотой затмила и матушку, и легенду семейства Наталью Афанасьевну. Маша, наоборот, будто бы подвляла.

Она охотно включалась в разговоры, она взглядывала на Василия Андреевича, но так, словно тайны между ними не было. Покашливала реже, из ее бледности ушла серая голубизна болезни. Бледность высвечивала глаза.

– Базиль! – потребовал за первым же обедом Плещеев. – Мне нужна пьеса в народном русском духе, и такая, чтоб зритель вместе с занавесом открыл рот, а когда занавес опустится – все равно бы сидел рот разиня...

Василий Андреевич на целый день затворился в Холхе.

Он не мог ни писать, ни читать, не мог ходить, сидеть, жевать.

Повиснуть бы между землей и небом. В столпники бы!

Долго просиживал над материнской вышивкой, читал и перечитывал заповедь:

«В ком честь, в том»... «и правда».

Читал отдельно, первую часть надписи на одной занавеске, и после долгой паузы – вторую, на другой.

Он расплакался уже перед сном.

– Матушка, ну какая же правда в чести? Правда в Машинной груди, правда в моей груди, а сия самая честь – не позволяет нам быть вместе.

Проснулся не как Жуковский – вестник зари, а как истый барин – к обеду. Такое с ним случилось впервой. Сразу сел к столу, и галиматья лилась из него обильно с восторгом, и все же ужасая: такое тоже в тебе уживается, друг ты мой маковый.

К нему пришли на третий день, обеспокоенные. Четверо Плещеевых, Александр Алексеевич, Анна Ивановна и оба старших сына, Алеша и Саша. Пришли Маша и Сашенька, а Екатерину Афанасьевну представлял милейший Григорий Дементьевич, сын крестного Елизаветы Дементьевны – ныне управляющий именными Екатерины Афанасьевны.

На стук в дверь отворилась форточка, к ногам пришедших пал запечатанный сургучом бумажный пакет. Саша подала пакет Александру Алексеевичу. Тот вскрыл бумагу – цветной сафьян. Развернули сафьян – черный шелк. Развернули шелк – рукопись. На первом листе надпись: «Скачет груздочек по ельничку».

Пьесу разучили за день. Пришли звать автора.

Спектакль. Авации. Ужин во славу драматургического дебюта.

Успех кружит голову. Через неделю артисты слушали читку нового сочинения – «Коловратно-курьезная сцена между господином Леандром, Пальясом и важным господином доктором».

Уморительная пьеса, веселие для всех, вот только у Леандра несчастная любовь.

Блажен, в кого амур – так, как горохом в стену,
Без пользы разбросал из тула тучи стрел!
О, счастья баловень! коль сладок твой удел!
Проснулся – ешь за двух! поел – и засыпаешь.
И, сонный, сладкою мечтой себя пленяешь.

А в первой пьесе, где сюжет взят из народной песенки: «Скачет груздочек по ельничку».

Ищет груздочек беляночки.
Не груздочек то скачет – дворянский сын,
Не беляночки ищет – боярышни.

На спектакль коловратно-курьезный были приглашены все соседи. Смех, радость, остро-слолье друг перед дружкой, хвалы автору, но из всех самая, самая, самая – счастливые глаза Маши и взгляд, означавший на их языке безмолвия: «Я люблю тебя».

Слушать, что ты – первый поэт нашего времени, первый поэт России, поэт на все времена – стыдно. А тут еще равняли с Бомарше.

Василий Андреевич тихонечко сбежал и укрылся от веселящихся за плотиной, где река, отдавши воды барскому пруду, была воробью по колено, зато золотая, пескариная.

Смотрел на стайки рыбок. Диво-дивное! Переступишь с ноги на ногу, и косячок единым существом стрельнет в сторону и снова через минуту-другую вернется на вкусное для пескариков место. Василий Андреевич пытался посчитать рыбок, но быстро сбивался. Пескари и поодиночке плавали. Значит, понятие «индивидуума» у них есть. Почему же в косяке все индивидуумы становятся стадом? Солдаты, да и только! Любому вахт-параду на зависть.

Непонятно только, кто команды подает. Как эти команды слышат разом все, и ни единого сбившегося.

Чтоб не пугать рыбок, Василий Андреевич отступил от берега, сел на камень. И тут его спросили:

– Вы наблюдаете жизнь рыб?

Алеша с Сашей.

– Смотрю на реку. Как река бежит, видно, а вот как время течет, никак не углядишь.

– Надо глаза покрепче зажмурить, а потом – рраз!

– Ну и что – р-раз! – передразнил Алеша. – Сашка у нас выдумщик.

– Пожалуй, надо попробовать! – Василий Андреевич посмотрел на Сашу. – И все-таки следы времен нам дано и видеть, и ощущать.

Поманил за собою мальчиков под обрыв. Смотрел под ноги и вдруг нагнулся.

– Закаменелость! – сказал Алеша.

– Отпечаток коралла. Мы живем на дне океана.

Саша встал на колени, перебирал камешек за камешком.

– Вот!

– Отпечаток аммонита. Даже перламутр сохранился. Хорошая находка.

Алеша полез вверх по обрыву.

– Только землю на нас сыплешь! – сердился Саша. Он отыскал осколок окаменевшей гигантской устрицы и два камня с отпечатками кораллов.

Алеша вернулся с нарочито-печальным лицом.

– Ты здесь ищи! – посоветовал Саша.

– А я и там нашел! – На Алешиной ладони лежала каменная пластина, на ней отпечаток какого-то растения.

– Пожалуй, это допотопная лилия! – определил Жуковский. Они сели на траву в тени черемушника. – Наши находки – следы времен несказанно далеких. Все сии печати поставлены природой миллионы лет назад. А вот каких-нибудь десять-двенадцать тысяч в минувшее – наша земля до Дона, до Азовского и Черного моря была заселена ариями. Арии испытали страшное бедствие, оледенение Земли. Отсюда они ушли в Индию.

– А следы найти можно?! – загорелся Саша.

Василий Андреевич улыбнулся:

– Можно. Но не в земле, а в нашей русской речи.

– В словах? – не понял Алеша.

– Язык самый надежный хранитель древностей. Слово «вече».

– Новгородское вече! – обрадовался Алеша. – Я знаю. У новгородцев была воля. У них не было крепостных. Весь народ приходил на вече и решал дела. Все были царями.

– Наш разговор о другом. – Жуковский смотрел на мальчиков с любопытством: Плещевы воспитывают республиканцев. – Вяч – был богом ариев, богом слова. Значит, не все арии ушли в далекие теплые края. Вече – слово русское. Значит, мы родня ариям.

– Я – арий! – вскочил на ноги Саша.

– А я – скиф! – объявил Алеша.

– Тоже великий и загадочный народ. Народ млекоядец. Скифы питались молоком. Стало быть, не могли быть кровожадными. Скифия простиралась от Сибири и даже от Китая до Черноморского побережья, до Палестины. В Палестине был город Скифополь. Греки очень ценили философа Анахарсиса. А он был скиф.

– А чем были вооружены арии? – спросил Саша.

– Арии владели самым грозным оружием древности: колесницами. У них были копья, луки, топоры, сабли.

– А у скифов? – спросил Алеша.

– Скифы жили в седле. Их главное оружие – небольшой лук, поражающий цель на пятьдесят сажень, и еще акинак. Короткий меч... Сарматы удлинляли свои мечи и после долгого соперничества победили скифов.

– Тогда я буду сарматом! – сказал Алеша.

– Не торопись. Скифы сотни лет владели великими пространствами, а у сарматов история короткая.

– Все равно: я скиф и сармат! – решил Алеша.

– Пошли сражаться? – спросил брата Саша.

– Пошли луки сделаем.

– Только чур! Стрелять не друг в друга, – предупредил Василий Андреевич, – в цель. Я тоже сделаю себе лук. Я буду эфиопом.

Ненавистник Вольтера

Василий Андреевич остался один и в Холхе, и в Муратове. Екатерина Афанасьевна увезла дочерей в Орел. От веселья не было роздыха, теперь от самого себя.

Усаживался за писание «Владимира – Красное Солнышко», но пересказывать стихами былины, летописи Нестора – рука не поднималась. Однако ж привык чувствовать себя труженником, рабом слова, бес славы подгонял его с пяти утра и до полуночи.

Увы! Вместо великого сочинялась галиматъя. Теперь Василий Андреевич писал истинную галиматъю, которая должна была затмить «коловратно-куръезное» и скачки грузочка по ельничку. Название новому сочинению дал вполне средневековое: «Елена Ивановна Протасова, или Дружба, нетерпение и капуста. Греческая баллада, переложенная на русские нравы Маремьяном Даниловичем Жуковятниковым, председателем комиссии о построении Муратовского дома, автором тесной конюшни, огнедышащим экс-президентом старого огорода, кавалером ордена Трех печенок и командиром Галиматьи. Второе издание с критическими примечаниями издателя Александра Плещепуновича Чернобрысова, действительного мамелюка и богдыхана, капельмейстера коровьей оспы, привилегированного ральваниста собачьей комедии, издателя типографического описания париков и нежного компониста различных музыкальных чревобесий, между прочим и приложенного здесь нотного завывания. Муратово. 1811 г.».

Писание галиматьи – смех на бумаге – вернул Жуковскому охоту к серьезным занятиям. Переводил «Оберона», коего ждал «Вестник Европы», и еще «Федона». О деньги, деньги!

Обедал Василий Андреевич в доме Григория Дементьевича Голембиевского, сына страстного охотника Дементия, крестного матушки Елизаветы Дементьевны.

Говорили о хлебах, о верности крестьянина народному календарю.

– Наши поселяне мистики, – посмеивался Григорий Дементьевич. – Коли до Флора не отсеешься, флоры родятся. Над барами так даже и смеются, «флоры» для них барское слово. У них закон: сей озимь от Преображенья до Флора, чтобы не было фроловых цветиков. Кто сеет на Фрола, у того фролки и будут.

– «Флор-Лавёр до рабочей лошади добёр», – вспомнил Жуковский присловье.

В крестьянстве была суть жизни, но Василий Андреевич никак не мог найти ту таинственную грань, за которой начиналась жизнь духа народного. Русская жизнь.

Как-то возвращаясь с обеда у Муратовского управляющего, сел под ивами на пруду и услышал песню. Женщина пела. На мостках. Замочила белье, никого вокруг нет, вот и запела:

Как на тихием, теплом заводе
Не белая лебедь воскликнула —
Расплакалась Авдотья-душа
Перед своей же сестрицею...

«Господи! – вспомнил вдруг Василий Андреевич. – А ведь Авдотье Петровне Киреевской рожать, наверное, приспело». И дыхание затаил, слушая бабу.

– «Ты, сестрица моя родимая,
Выдь-ка ты на ново крыльцо, —

звала певунья голосом негромким, но от воды звук отражался и стоял над прудом куполом:

– Посмотри-ко ты во чисто поле.
Во чисто поле, в темны леса,
Куда моя красота пошла?»

У Василия Андреевича от таких слов слезы закипели в груди.

– «Красота пошла в темны леса,
В темны леса, в чисто поле,
В темным лесу заплутается,
В чистом поле загуляется...»

Оборвался голос. И Василий Андреевич заплакал. Он не хотел выдать своего присутствия, сидел под ивою не двигаясь, но к бабе подошли с бельем еще бабы, я у них пошла веселая работа вальками.

Кинулся Василий Андреевич домой, достал листы своих планов.

Песнь первая. «Владимир и его двор. Недостаёт лишь Добрыни и Алеши Поповича. Добрыня послан за мечом-самосеком, златокопытом, водою юности. Алеша прежде отправился на подвиги. Богатыри Чурила, Илия, Рогдай, Громобой, Боян-певец, Святой Антоний...»

Что ж, картины можно нарисовать изумительные! Простор фантазии, богатырской мощи в слове. Все это связать со святыми подвигами основателя Киево-Печерской Лавры, подвигами смирения.

«...Радегаст Новгородский, убийца своей любовницы, мучимый привидениями, и Ярослав, сын Владимиров, печальный, мучимый неизвестною тоскою. Милолика, княжна новгородская, невеста Владимирова, привезенная в Киев Радегастом и Ярославом. Приготовление к празднеству брачному».

Песнь вторая. «Осада Киева Полканом Невредимым. Его стан и его богатыри Змиулан, Тугарин, Зилант. Требование, чтоб Владимир уступил Милолику. Владимир идет советоваться к св. Антонию. Антоний велит отложить празднество брака и говорит, что один только Добрыня может умертвить Полкана. Советы, как укрепить город; жизненного запаса есть на год».

Антоний жил в иную, более позднюю эпоху, но у поэзии свои законы, своя воля.

Третья песнь. «Процессия вокруг Киева; окропляют его святой водой. Он неприступен для войска. Добрыня едет путем-дорогою. История волшебницы Добрады и Черномора. Сон Добрыни. Он въезжает в очарованный лес».

Песнь четвертая. «Очарованное жилище Лицины. Звук арфы спасает его. Он разрушает очарование. Между очарованными находит Илью и его любовницу Зилену».

Песнь пятая. «История Ильи с великаном Карачуном...»

Жуковский отложил листки. В ушах стояла песня полоскальщицы:

«Красота пошла в темны леса...
В темным лесу заплутается,
В чистом поле загуляется...»

Вот она, былина. В десяти словах – былина. И вся-то правда жизни.

«Боже мой, я не то делаю!»

Спрятал планы подальше, открыл папку с Еленою Протасовой, с Жуковятниковым.

Писалось удивительно легко. Еще день – и готово.

Придвинул чистый лист, сочинил на едином вдохе:

Скорей, скорей в дорогу,

В Муратово-село.
Там счастье завело
Колонию веселья;
Там дни быстрее бегут
Меж дела и безделья!

Пора домой, Екатерина Афанасьевна. Нам без Машинных глаз – жить скучно. Невозможно, Екатерина Афанасьевна!

Отправил письмо, а сам в Долбино.

У Авдотьи Петровны в глазах затаенное счастье. Роды могут начаться, может, через неделю, а может, и через часок всего. Тревожилась! Как не тревожиться! Ласкала пятилетнего Ваню и Петеньку-трехлеточку.

Василий Иванович держался молодцом, был занят делами, но чуть ли не каждые полчаса оказывался возле супруги.

У Авдотьи Петровны в ее двадцать-то два года – это были четвертые роды. Дочь Дарью они потеряли в младенчестве.

Жуковскому Василий Иванович обрадовался. В трудную минуту хорошо иметь возле себя родного человека.

– Съездим к одному поклоннику века просвещения, – предложил Киреевский. – Я у него десять книжек купил. Заодно поглядим овсы.

Овсы – золото с серебром. Сильные.

– Как море, – сказал Жуковский.

– Через недельку надо косить.

У соседа забрали книги – всё это были сочинения Вольтера – но не задержались. Дабы не обидеть хозяина, отведали настоек и наливок да поговорили о турецкой войне.

Поклонник Франции и Наполеона негодовал:

– Выиграть битву и бежать за Дунай – в этом весь Кутузов!

– Я думаю, старому генералу видней, – сказал, помрачнев, Киреевский. – Как всегда снабжают армию кое-как. Театр военных действий огромный, а оставлено Кутузову четыре дивизии из девяти.

– Суворов бил врага малым числом.

– Так ведь и Кутузов надавал визирю тумачов силами вчетверо меньшими.

Сосед ссориться не желал, хватил рюмку за патриотов, с тем и расстались.

В Долбино приехали в самую жару, но, к изумлению Жуковского, Василий Иванович велел затопить печь. И когда дрова разгорелись, бросил в огненную утробу недешево купленные книги. Жуковскому сказал:

– Вольтер – хвост антихриста. У меня для его сочинений – одна дорога.

Поэт никак прийти в себя не мог, и Василий Иванович усадил его на диван, сам поместился напротив, на табуретке.

– Попомни мое слово! В этом году уже поздно. Последний месяц лета. А на следующий год ранехонько по весне Наполеона надо ждать в гости. Наполеон – страшен, а Вольтер – трикратно. Это он родил Франции Робеспьера и Наполеона, России этаких героев не надобно. Я тебе скажу, почему Вольтер опаснее воина: монстры из слова рождаются. Из насмешки над сущим. Сатана-то ведь хохотун. И среди народов так же. Бойся не сурового, бойся – гогочущего.

Поживши денек-другой среди уюта семейного, зажавши в сердце горчайшую обиду на судьбу, покати́л Жуковский в Чернь, к Плещеевым. Разучивать новую свою пьесу. Ставить решили в Муратове на день рождения Сашеньки.

Александр Алексеевич сел писать музыку, а Василию Андреевичу пришла мысль: издать газету во славу Сашиного праздника. Придумок было множество, но вывесить газету он решил утром 21 августа, на следующий день после главного праздника, оставив место для репортажа о торжествах.

Прикатил в Холх, а к нему вестник из Долбина: Авдотья Петровна разрешилась девочкой, имя ей избрано – Мария.

День рождения

Сашенька Протасова родилась 20 августа, в день памяти пророка Самуила, о коем сказано: «И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей». Сашенька, слава богу, никого не судила и в каждый день жизни ждала счастья и была счастлива. Теперь ей исполнились шестнадцать.

На праздник приехали Плещеевы, приехали Алябьевы, была тетушка Маши и Саши Елена Ивановна Протасова, в честь коей и сочинена новая драма Жуковского.

Плещеевы исполнили оперу собственного сочинения, разумеется, пелось по-французски. Василий Андреевич тоже пел, прочитал «Светлану». Был фейерверк, неудачный, впрочем.

А перед ужином Жуковский представил хозяйке торжества и ее гостям газету «Муратовская вошь».

«Вечеру сегодня, – сообщал корреспондент, – т. е. 20-е число августа, была иллюминация. Комета прохаживалась по зале и по хорам и светила безденежно! Денежные свечки сияли как рублевые! Огненные фонтаны собирались бить высоко, да раздумали; ракеты ползли окарячь, а учредитель фейерверка плюнул да и прочь пошел».

Мало того, был подробнейшим образом описан обед в тени плодовых деревьев. Печатались здравицы комете Александре, матушке Екатерине Афанасьевне и просто Маше.

За ужином Маша оказалась рядом с Василием Андреевичем. Они несколько раз соединяли руки. Нечаянно, подавая друг другу кушанья или ради того, чтобы обратить внимание на кого-то, на нечто смешное, смеялись.

Во время танцев Екатерина Афанасьевна увела Жуковского на крыльцо.

– Где твои обещания? Ты забываешься.

– Но в чем?

– Не притворяйся!

В нем полыхнула вдруг вся его туретчина:

– Ах ты, боже мой! Как смел ты, раб, ручки коснуться под взорами блюстителей нравственности и целомудреннейшей чистоты! Природной, семейной чистоты и нравственности. Бунинской, Вельяминовской, Юшковской, Протасовской, наконец!

Екатерина Афанасьевна воззрилась на брата с недоумением.

– Ты о чем?

– О чистоте и нравственности твоего семейства и твоей ближайшей родни.

– Ты о чем?! – прикрикнула Екатерина Афанасьевна.

– О сукиных детях. У твоего батюшки, слава богу, я один. Три моих сестрицы померли в младенчестве. Николай Иванович Вельяминов сучьими детишками не обзавелся, а вот сестрица наша Наталья Афанасьевна при живом супруге расстаралась. У нее и Мария Николаевна, и Авдотья Николаевна – сучьи дочери губернатора Кречетникова. И твой Андрей Иванович Протасов своего не упустил. Василия Андреевича да Наталью Андреевну Азбукиных – сукиных детей, сестрицу и брата, не забыла? А Петр Николаевич Юшков? Машенька законная, Аннушка законная, а Сашка – прижитой, сукин сын.

– Ишь как разошелся! – Красивый рот Екатерины Афанасьевны превратился в щель. – Дочери моей тебе не видать, покуда я жива. Дьявол распекает? Кровосмешения жаждешь?

– Господи! Зачем же так? Мы с Машей друг для друга созданы! – Слезы дрожали в голосе Василия Андреевича, и тут он увидел перед лицом своим, у носа – ослепительно-белый дамский шиш.

Однако ж ему даже оскорбиться не позволили. Екатерина Афанасьевна подхватила несчастного под руку, и уже через мгновение он был в гостиной. Плещеев в костюме факира собирался заглатывать огонь, а супруга его Анна Ивановна заламывала руки и взрыдывала:

– Не губи себя! У тебя же шестеро детей!

Факир был неумолим. Пожрал два огромных факела и, не переставая трещать по-французски и по-латыни, вытряс из своих сапог по золотой монете, а из Сашиных башмачков золото высыпалось по целой горсти. Плещеев и с Жуковского снял башмак, но на пол брякнулся медный грош, в другом башмаке факир даже смотреть не стал. Хохотали до слез, и Василий Андреевич, пользуясь весельем, оказался возле Маши и прошептал:

– Завтра. В пять утра. У пруда.

Праздник кончился за полночь.

Жуковский домой не пошел, сидел, прислонясь спиной к ветле. Августовское небо, как пропасть. Полная луна не в силах высветить его даже около себя. Весь лунный свет стекал на землю. Но земля горчила. Горчила ветла, листвою, корой, горчила высокие бурьяны – лебеда поспела. Горчило поле конопля из низины за запрудой...

– И никакой тайны! – Василий Андреевич смотрел на тень от листьев ветлы. Похоже на большой косяк рыбы.

Луна на воде белым колобом. Ни лунной дорожки, ни серебряной ряби на волнах. Земля устала от чудес за весну, за лето...

– И я устал, – сказал себе Василий Андреевич.

Спохватился. Август: в пять утра темно. Маша, должно быть, не спит, боится проспать. А что он ей скажет – в пять утра? Что?!

На часах три. Поспешил домой. Разделся. Лег. Заснул.

Открыл глаза. Три часа пятнадцать минут. Провалился в сон. Вскочил. Без двадцати четыре. Оделся. Сел в кресло. Перешел на диван. Заснул. Пробудился в страхе, но боже мой! – стрелка никак не могла одолеть одного круга.

Они встретились в половине пятого.

Он расцеловал Машины ручки.

– Добрая! Милая! Милая! Нельзя нас мучить. Чем мы это заслужили?

– Такая у нас судьба. – Голос у Маши не дрожал, не звенел, и он слышал в сим голосе Екатерину Афанасьевну.

– Маша, нам остается одно – бежать. Или... или терпеть по-прежнему. Жить бок о бок и навсегда остаться несчастными.

– Такая у нас судьба, – сказала Маша, ее лицо покривила безнадежно усталая зевота.

– Маша! Неужели Екатерина Афанасьевна не пощадит?..

– Не пощадит, – сказала Маша. – Я не могу сделать маме больно.

– А мне, а себе?

– Такая у нас судьба. – Она положила руки на плечи ему и подняла лицо. Он коснулся губами ее губ. Губы были теплые, но не живые.

– Наш первый поцелуй! – вырвалось у Василия Андреевича.

Она чуть отступила от него, еще отступила и, повернувшись, пошла к дому.

– Всё, – сказал себе Василии Андреевич.

Уже через день он был в Муратове, рассказывал сестрицам, Маше и Саше, о гностиках. Пришла пора прочитать ученицам курс философии.

В те горькие дни, отвечая Мите Блудову, который манил друга в Петербург, Жуковский писал: «Ты спрашиваешь, чем я занимаюсь? Мое время разделено на две половины: одна посвящена ученью, другая авторству... Ученье: философия и история, и языки. Сочинения и переводы: начал перевод из «Оберона» (он будет посвящен тебе)... Имею в голове русскую поэму...»

Несчастливая любовь – поэзии подруга.

Золотой дворец в золотом лесу

Война – любовь почитает за награду. Порождение умыслов, жажды власти и высокого стремления обновить мир и навести порядок в жизни людей – неопытна, как подросток.

Михаил Илларионович хоть и являлся на час-другой в свою штабную избу, к военным тайнам, ко множеству бумаг армейского хозяйства, но важнейшими делами занимался в горнице своего цветочка Гуниани. Девиде месяц тому назад исполнилось четырнадцать лет, но, может быть, именно юность раскрыла в ней столь сокровенную притаенную красоту. Даже прислуга, а у прислуги вместо языков точеные ножи, признавала в крестьянке-молдаванке несомненную фею.

Генерал и девочка и днями не расставались. Гуниани садилась под окошко с пальцами, а Михаил Илларионович устраивался возле другого, с бумагами.

Вышивала Гуниани Фэт-Фрумаса и пляшущую фею. Фея дивным танцем выпрашивает у жениха свои крылья. Она их получит, улетит, и Фэт-Фрумас отправится по белу свету искать сказочный золотой дворец в золотом лесу.

Михаилу Илларионовичу приходилось как раз писать во дворец не выдуманный.

«Милостивый государь граф Николай Петрович! Я имел честь получить почтеннейшее отношение Вашего сиятельства от 2 сентября...»

Девочка потихоньку пела. Голосок вибрировал. Так вода перекачивается по камешкам.

Лист ореха, лист зеленый,
Соком жизни напоенный,
Ты ль не ведаешь, что мне
Горько в дальней стороне.
Я тоскую не по дому,
А по страннику чужому.
Он пришел в волшебный лес.
Сделай так, чтоб не исчез.

И взглядывала на генерала. Генералу песенка нравится, но о чем она – не понимает. Ошибалась. Генерал, с детства говоривший по-французски, одолевший латынь, понимал язык феи. Впрочем, не обнаруживая своего знания.

Письмо же предстояло написать так, чтоб овцы были целы, а волки сыты. Император Александр и канцлер граф Румянцев уверены: турок можно принудить к заключению мира дипломатически. Возражать Петербургу бессмысленно.

Михаил Илларионович перечитал отмеченное в письме канцлера: «Холодность наша теперь и молчание вызовут скорее Порту соделать нам новые предложения и, вероятно, с большею податливостью к уступке, а потому, кажется лутче выждать с твердостью такового с её стороны шага, который, чаятельно, не замедлит последовать».

– Мудрецы! – Михаил Илларионович даже заскучал, думая сразу об Ахмед-паше и петербургских вельможах. Твердостью решили устроить султана. Это когда султан почитает победой отступление русских за Дунай. Это когда французы обещают Порте вернуть Крым и всю Тавриду.

– Господи, благодарю Тебя за милость Твою! – Михаил Илларионович был доволен, ибо в Петербурге довольны его переговорами: вынудил покинуть Бухарест посла Абдул-Хамид-эфенди. Посол в который раз отправился в Стамбул за инструкциями...

– Красный лепесток пиона,

Ты, что из цветов рожденный... —

пела Гуниани.

Глаза у девочки черные, но ведь и впрямь алмазы. Личико совершенное, розовоперстая, до пяточек – совершенство. Нечаянное подобие Евы – Божьего Творенья. И это детство! В улыбках, в искренней радости. И эта невообразимая для столь юной особы женская мудрость.

Для нее, для отроковицы, русский генерал: не мерзкий искалеченный старец, но великий чужеземец, пришедший сразиться с драконом, дабы освободить ее народ из плена. Невероятно! Она любит шрамы своего героя!

Михаил Илларионович быстро написал: «Принося Вам, милостивый государь, искреннейшую мою благодарность за все доверенные сообщения Ваши и рассуждения относительно до положения дел наших с Портою, в депеше той заключающиеся, с истинным удовольствием представляю Вам в другом отношении моем по предмету свидания моего с турецким чиновником, от визиря ко мне присланным, извещение о событии предположения Вашего сиятельства на счет: предложений Порты, скорое воспоследование коих не могло скрыться от пронизательного ума Вашего. С отличным высокопочитанием и таковою же преданностию имею честь пребыть Вашего сиятельства, милостивого государя всепокорнейший слуга Михайло Го-Кутузов».

Прочитал, подавляя смешок. Ишь как! Льстительно, да без фальши, о деле туманно, ибо это большой секрет: Россия мира желает. А средство к его достижению одно-единственное. Приготовления, невидимые не токмо туркам, но и своим, идут постоянно. Уже приспела пора изготовить для переправы суда и лодки. Тут скрытность особливо драгоценна.

Победа, когда она будто снег на голову, даже для своих – искусство величайшее. Строительство подобной победы, а сие именно строительство – дело воистину полководческое. Ее надобно представить миру в таком обличьи, словно обязана она одной отваге.

Подобное заблуждение солдату не в укор. Солдат идет под картечь, под пули, сабли, победы на его плечах выношены. Он и должен быть горд самим собою, а народ, родивший солдата, пусть почитает себя счастливецом и богатырем. Все сие – истина. Видимая часть истины.

Сердцу биться, биться, биться,
Обернуться быстрой птицей,
Чтоб лететь, а ты зови
В море счастья и любви, —

пела Гуниани, и огонь в ее глазах был, как со звезды. Зовущий.

Столичная жизнь

Гражданин острова Чока юнкер Василий Перовский летел по Фонтанке к дому возле Измайловского моста. К Державину. Упаси боже – не по стиху. Орган послушать. Арфу госпожи Державиной. Лучших певцов Петербурга. Главное, в сей дом вход юнкерам не заказан.

Каблуки сапог постукивали легко, весело.

Всё замечательно! Петербург, училище, принадлежащее Главной квартире Свиты Его Императорского Величества... Их макет Уральского хребта получил высший балл. Причем Льву досталась все-таки более простая работа – строил северную часть хребта, иное дело – юг, где горы переходят в плоскогорье. Высоты малоприметные. Тут нужны терпение и кропотливейшая точность в расчетах.

Василий помахал чайке, пролетевшей вровень с гранитными берегами. Обомлел. Навстречу по Фонтанке, с офицером чуть позади, шел... император Александр. Василий сморгнул, но император не исчез. Убежать! Но как это возможно? Господи! Не оставь!

Василий замер, потом все-таки пошел... Дрожали ноги, в груди дрожало.

Государь в мундире с Георгием 4-й степени. Серебряные эполеты, треуголка с султаном. Промелькнуло спасительное: Его Величество – офицер!

Пошел, отбивая шаг, сдал вправо, кинул руку к виску.

– Здравствуй, юнкер! – Государь улыбнулся. Лицо, напоенное светом, глаза небесной голубизны, в глазах любовь и любопытство.

– Здравия желаю, Ваше Величество! – негромко, подчиняясь негромкому голосу государя, выдохнул из себя свой ужас и восторг будущий квартирмейстер.

– Какие молодцы у Волконского! – сказал государь сопровождавшему его офицеру. – Учиться трудно?

– Учиться водить войска – счастье, – опять-таки негромко, но звенящим голосом ответил Василий.

– Знаю, вам преподают науки умные, – согласился государь.

Улыбнулся. Пошел...

А юнкер стоял. Стоял, будто здесь-то он и вырос из земли.

Опамятовался. Побежал. Господи, это же неприлично. Пошел нарочито размеренно, а ноги не чуяли земли.

Трепета не убывало, когда уже в доме Державина осматривался.

Зала в два света. Золотистый мрамор колонн. Кресла. Стол, длинный, очень серьезный, крыт зеленым сукном. Народа немного, но юнкер почти не различал лиц.

Его вернули на землю небесные звуки органа. Орган был на хорах, звуки нисходили, заполняя собою зал, как заполнял его свет.

Пошло пение. Сначала пела Воробьева, потом Менвиль – заезжая сирена Петербурга, коей, однако, в повышении жалованья отказано. (Уже через полгода Менвиль будет в Европе, и на нее прольется золотой дождь.)

Музыкальная часть закончилась. За столом появились члены «Беседы». Перовский узнавал: адмирал Шишков, седой, чернобровый, остроглазый. Нижняя губа чуть находит на верхнюю, но лицо, при всей его строгости, добрейшее. У Державина тоже хорошее лицо, но озабочен, смотрят в листки, лежащие перед ним. Крошечный толстенький человечек, с благообразной круглой физиономией – князь Ширинский-Шихматов. Добродушно приветливый Крылов.

Среди занявших кресла за столом Василий углядел одно-единственное молодое лицо. Это был Жихарев.

Первым читал величавый граф Хвостов. Долго читал, гремел возвышенными словесами. Потом Гавриила Романович. Отнюдь не стихи. Трактат «Рассуждение о лирической поэзии или об оде».

Ширинский-Шихматов предложил на суд товарищам и публике новую свою драму, но что она такое, юнкер Перовский в тот раз не узнал.

Проснулся, когда соседи поднимались с мест: очередное заседание «Беседы любителей русского слова» закончилось.

Василий не поделился ни с братом, ни с товарищами своей великой удачей – с государем говорил!

Чудо встречи хранил в себе, как талисман, хотя узнал, что Александра можно видеть чуть ли не всякий день.

Маршрут царской прогулки: по Дворцовой набережной, от Прачешного моста по Фонтанке до Аничкова и по Невскому проспекту.

Забылся и конфуз на чтениях в державинском доме. Петербург жил двумя событиями. Одно произошло 15 сентября, другое ожидалось октября в 30-й день.

В Казанский собор граждане республики Чока попали назавтра после его освящения. Перовские 1-й и 2-й, Лев с Василием, и Муравьевы 1-й и 5-й, Александр с Михаилом. Лев и Александр были ровесниками, а Василий с Михаилом – почти погодки.

Собор строился десять лет, к его величавой колоннаде уже привыкли. Но теперь, когда это был храм, в котором можно помолиться, всё смотрелось иначе.

Как заправские квартирмейстеры-разведчики, посчитали колонны – восемьдесят две.

– Камень из Пудожа, карельский, – явил осведомленность Александр. – Вес круглых колонн по 1750 пудов, а квадратных так по 2600 пудов.

Осмотрели на гранитных пьедесталах Архангелов Гавриила и Михаила.

– Гранит сердобольский, по 7808 пудов каждый, Архангелы из алебастра, – объяснил Александр.

Постояли перед бронзовыми дверьми – копией дверей Флорентийского собора.

Перекрестясь, вошли в храм. Здесь тоже колонны и простор.

– Полумрак, как в пирамиде, – сказал Михаил.

Василия резанула «пирамида», но в сердце была молитва. Пошел к алтарю.

– Колонны в иконостасе – яшма. Это доставлено из Сибири, – блистал знаниями Александр.

Василий смотрел на слово «Бог» над Царскими Вратами. От Слова шел свет, летели лучи. Буквы набраны из драгоценных камней, но для Василия это был свет вышний.

«Господи! – Он чувствовал в душе неведомое ранее ликование и не словами молился – самую суть души. – Господа! Россия возвела Тебе столь великий и прекрасный дом. Не оставляй России и пошли мне послужить Тебе и Царю великой службой. Сколь есть во мне хорошего, Твоего, Господи, столько и пошли вместить в службу мою».

Михаил Муравьев вдруг сказал:

– Сделал бы Господь так, чтоб мы, стоящие здесь, перед Ним, – в войне ли, в ужасных бедах, но остались живы. В этом храме так хочется послужить Отечеству.

– До последнего вздоха служить! – быстрым шепотом согласился с Михаилом Лев. – Не знать отставок, старческой пенсии...

– Аминь! – Александр Муравьев засмеялся, прикрывая ладонью рот. – Какие вы все мистики. Посмотрите, пока открыты Царские Врата, на дарохранильницу в виде храма. Она тоже из сибирских камешков, топазы, агаты. А в кресте – десять бриллиантов... Мне нравится лаконичность Главного иконостаса. Две иконы: Спаситель и чудотворная Казанская Божия Мать, забранная у Москвы Петром Великим.

Василию мешали умности Муравьева, пожалел, что пришел ко Господу в «толпе».

В училище их ждала радость: всем присвоен первый чин – унтер-офицеры.

Но унтер-офицер – еще не офицер. Чтобы попасть 30-го октября в театр на всеми ожидаемый триумф Семеновой – к роли Меропы ее приготавливает русский Гомер Гнедич – нужно быть хотя бы прапорщиком.

Нет слов, Жорж – боготворили, но Семенова – тоже красавица. И, слава богу, своя, русская, наполовину из благородных. Ее батюшка – учитель кадетского корпуса Прохор Иванович Жданов, а матушка – девка крепостная. Стало быть, блистательная Семенова – дочь суки. На сцене же – сама величавость, о страстях не кричит, но все понимают, каков вулкан перед ними, какова буря в недрах...

Изысканная публика стала примечать: Жорж – неглубока, Жорж – играет в трагедию. А у Семеновой – всё через сердце, Семенова живет на сцене.

Стояние стоянию рознь

В Петербурге жаркие сражения шли в императорском театре, а вот на Дунае война затаилась, как таится до времени в глубинах земли огонь на торфяных болотах.

Падишах Великой Порты Махмуд II прислал визирю Ахмед-паше щедрые награды. Битва под Рушуком, не вполне счастливая для турецкой армии, обернулась несомненным успехом. Русские бежали за Дунай.

В Париже, на приеме в Тюильри, Наполеон подошел к флигель-адъютанту Александра I полковнику Чернышёву и спросил, не понижая голоса:

– У вас, кажется, была резня с турками под Рушуком?

Не пощечина, но щелчок, и весьма звонкий, по престижу русского царя.

Французский посол в Константинополе Латур-Мобур подвигал султана идти через Дунай и если не добить Кутузова окончательно, так обескровить Молдавскую армию. Это позволит вернуть под османские знамена Бухарест и Яссы, вновь обрести благословенный Крым.

Султан отправлял своих чаушей к Ахмед-паше, требуя не упустить погожих летних дней для войны. Однако ж визирь опасался побед, подобных победе под Рушуком. Армию к переходу через Дунай готовил, но превосходство в силах не считал своим главным козырем.

Усыпляя бдительность Кутузова, отправил к нему парламентаров, опять-таки и для разведки, предлагал начать мирные переговоры, правда, условия этого мира были условиями победившего.

«Блистательный и благороднейший друг! – писал Михаил Илларионович Ахмед-паше. – Хотя я твердо убежден, что основа для переговоров, предложенная Хамид-эфенди, никогда не будет принята российским двором, однако, чтобы ни в чем не упрекнуть себя, я счел себя обязанным отдать ему (двору) отчет о первых конференциях, которые имели место между Хамид-эфенди и тайным советником Италийским».

Тем временем пятнадцатитысячная армия под водительством Сересского паши Исмаил-бея переправилась у Калафата вблизи Видина на левый русский берег, имея целью прорваться к Бухаресту.

Корпус генерала Засса был невелик, но пушки! Русские пушки! Артиллеристы и егеря быстро охладили огненную кровь Сересского паши. Положив тысячу воинов, Исмаил-бей откатился к Дунаю, но испытывать судьбу не стал, воротился под защиту пушек могучего Видина.

Визирь собирался использовать натиск своей второй армии для отвлечения, чтобы самому переправиться на левый берег. План провалился.

Но у Кутузова тоже появились свои трудности. Пришел приказ отправить казачьи полки в армию Багратиона, к западной границе. И это перед неминуемым переходом армии визиря через Дунай.

Михаил Илларионович исполнить приказ не поторопился. Более того, придвинул к себе девятую и пятнадцатую дивизии и наскребал, что мог. Усилил позицию отрядом генерал-майора Палена, имевшего два слабых батальона и две сотни драгун. Два батальона забрал из города Обилеши.

Собирал в кулак на правом берегу отряды сербов. Надеялся иметь до трех тысяч. Затеял хитрое дельце против Исмаил-бея. Посылая Бибикова к Зассу, объяснил задачу:

– Переправиться через Дунай генералу не удалось, баркасы не дошли до берега из-за мелей саженой тридцать всего, что ж... Пусть, отрядив сколько возможно пехоты и конницы, идет к Груе, где у нас стоят суда, купленные у видинского паши. Соединясь с сербами, произведет атаку на правый фланг Исмаил-бея. К видинскому Мулле-паше мною посланы люди, дабы нашей атаке его крепостная артиллерия не препятствовала. У меня один глаз, а воевать приходится с двумя армиями. Уравнять надобно.

Передышка в боевых действиях Кутузова радовала. Укреплял редутами свой лагерь, дабы не волновать визиря, – смотри: никуда не идем, стоим. Солдат занимал стрельбами, отработкой действий в каре.

Война требует сил и достатка в солдатском обиходе. Запасал продовольствие, пополнял склады боеприпасов, заботился об исправности оружия.

Только 9-го сентября Ахмед-паша набрался духу перейти Дунай. Его ждали против Рущука, но основные силы турок хлынули через Дунай в четырех верстах выше по течению, против местечка Слобозея.

– Молю Господа, перешло бы их на наш берег поболее! – осенял себя крестным знамением Кутузов.

Господь внял мольбе.

Плацдарм напротив Рущука обживала тридцатитысячная отборная армия – цвет Османской империи.

Ахмед-паша, почитая захват плацдарма за легко доставшуюся новую победу, приказал огораживаться валами. Но французские советники разработали операцию двойного удара: Исмаил-бей рассеивает отряд генерала Засса, Ахмед-паша, поглотив массу войска Молдавскую армию, движется в глубь страны, никем, ничем не защищенной.

Русское бездействие Ахмед-паша принимал за слабость. Старец Кутузов, видимо, радовался каждому дню, прожитому покойно. Русские, правда, все время копали землю, как кроты. И Ахмед-паша не сразу понял, что не он осаждает малочисленную армию русских, это его, великана, обложили редутами аж до берегов Дуная, справа и слева.

Происки слабейшего противника первое время мало беспокоили великого полководца империи Османов. Ждал известия о победах Исмаил-бея. Однако генерал Засс тоже времени зря не терял. Исполняя приказ Кутузова, собрал все свои силы и закрыл редутами проходы через болото, а их было три.

Исмаил-бей не долго заставил себя ждать, обрушился всею силой на русские редуты. Его конница прорвалась в тыл, пехота пробилась между каре. Но все прорвавшиеся попали в огненный мешок и были уничтожены. С пяти часов утра до пяти часов вечера ломали турки силой силу. И снова тысяча убитых, а русские стоят, где стояли.

Исмаил-бей отошел к древнему городку Калафату, и здесь его осадили.

И у Ахмед-паши связь с Рущуком была только по воде.

«Я окружил турок редутами, – доносил Кутузов Барклаю де Толли. – Объехать наш правый фланг и наделать каких-либо шалостей позади нас Ахмед-паша не может».

Письма отправлялись через Бухарест. И на этот раз их повез майор Бибииков.

– Михаил Илларионович! – взмолился племянник. – Отпустите меня в армию. Я в дело хочу.

– Будет тебе дело, – пообещал главнокомандующий. – Из Бухареста не торопись. Мне для моего дела важно получить ответ видинского Муллы-паши. С ним вернешься – и как раз дело-то и приспееет. В Ольвиопольский полк получишь перевод.

Воротился Бибииков в последний день сентября, а тишины на берегах Дуная не убыло.

В тот день на обед к главнокомандующему собрались генералы Ланжерон, Эссен, Булатов, штабные обер-офицеры.

– Что ж, господа, – говорил Михаил Илларионович, – не пора ли нам подумать о зимних квартирах? Мой старый друг Ахмед-паша, видимо, совершенно доволен своими успехами. Правобережье от нашего присутствия избавлено, плацдарм на левом берегу для обороны обустроен.

– Вопрос, устраивает ли нас подобное положение? – поднял брови во всё своё высокомерие граф Ланжерон. – Мы становимся посмешищем не только для Наполеона, но для всей Европы.

За летнее сражение под Рушуком граф получил генерала от инфантерии, догнал в чинах старика Кутузова.

– Нас устроит, Александр Федорович, положение, при котором турецкая армия перестанет существовать. – Старец трогал вилокю поставленное перед ним кушанье и, должно быть, никак не мог решиться, с чего начать. Ланжерон глянул на Эссена, и они друг друга поняли.

– Бог попустил России воевать с турками, – сказал Ланжерон, – а так как турки с древнейших времен в янычарские войска набирали славян, то все эти воины – междоусобица. Потому и конца нет противостоянию, хотя империя Османов пережила самую себя и угрозу представляет разве что для дикарских орд арабов и всякого рода азиатов.

– Говорить о дикарстве армии, где учителями и советниками генералы и полковники Наполеона, рискованно! – возразил Михаил Илларионович. – Можно было бы и к русской армии прилагать мерку дикарей, но не получается. Военным министром у нас генерал из Шотландии, главный советник государя мудрый генерал Фуль, да и у нас с вами картина обнадеживающая: генерал Ланжерон, генерал Эссен, генералы Гартинг, Засс... Нет, господа! Я за мою армию спокоен.

Михаил Илларионович принял-таки за рыбу. Ланжерон улыбнулся.

– А насчет славян в турецкой армии. – Кутузов посмотрел своим единственным оком на графа-француза покойно и отменно светски. – Вам ли не знать, как сражаются янычары. Умерев, идут вперед. А ежели глядеть в корень турецкой проблемы, она выпестована Византией. Регент малолетнего василевса Иоанна V Иоанн Кантакузин для войны с сербами нанимал войско султана Орхана. Даже дочь свою отдал Орхану в жены. Ради императорской короны было предано будущее Византии. Но ведь турки воевали не только мечом, но и умом. Город, оказавший сопротивление османам, терял все свои права. Пятую часть населения завоеватели обращали в рабов, а всех мальчиков отсылали в школы янычаров. В то же самое время христианским городам, принявшим турок без боя, не возобранялось иметь храмы и обряды. Ну да бог с ними, с турками! – Михаил Илларионович вдруг стал очень веселым. – Мне Прасковья Михайловна, дочь моя, пишет о предстоящих сражениях в Санкт-Петербурге. Наполеон токмо всё погромыхивает громами в нашу сторону, а вот у актрисы Жорж и у нашей Семеновой сражение в разгаре. Не представляю себе, какими чарами собирается пленить сердца публики эта самая Семенова.

– Насколько мне известно, – сказал Ланжерон, – Жорж скоро отбывает в Париж, а это сигнал тревоги: война неизбежна... Вот почему нам нельзя ждать, медлить, соглашаться на покойное течение событий.

– Да, да! – согласился Кутузов. – Но война знает свой час...

Докушал отварного осетра и поискал глазами Бибикова:

– Господин майор, Марков Евгений Иванович денно и ночью сторожит турка. Отвези ему осетрины. Отменно приготовлено. И вот что, голубчик! Я ему записку, пожалуй, напишу. Простите старика, господа!

Проворно поднялся, посеменял торопливо в кабинет, поманивши за собою адъютанта.

Писал быстро, не поднимая головы от бумаги. Это был приказ о немедленном выступлении в ночь. «Назначаю Вас в важнейшую экспедицию за Дунай, в поиск на неприятеля, под командою верховного визиря состоящего. Уделяя Вам до семи тысяч войска из главного корпуса, делаю всё то, что могу только уделить, не ослабивая совершенно моей позиции. Суда перевозные завтрашнего числа находиться будут на назначенном месте... Поручаю Вашему превосходительству важнейшую экспедицию, успех которой... может иметь влияние на блистательное окончание нынешней кампании».

Пока главнокомандующий отсутствовал, за столом разразилась напряженная пауза. Ланжерон не скрывал своей неприязни к главнокомандующему:

– Должно быть, старческое нетерпенье. К пассивности побежал. Хватить сладкого перед десертом.

Паисий Кайсаров вспыхнул, но вступить за начальника значило признать навет за истину. Дабы поубавить языкатой прыти Ланжерона, сказал:

– Михаил Илларионович единственный, кто говорил с двумя царствующими особами в последние часы их жизни. В Михаиле Илларионовиче была нужда и у великой императрицы Екатерины, и у Его Величества Павла Петровича.

– Особливо наш генерал понадобился императору Павлу, – резко отпарировал Ланжерон.

Вошедший в столовую Кутузов слышал сказанное. Сел на свое место, похвалил пирожное.

– Слухи, господа, – подобие колдовских напусков по ветрам, – поглядел на Ланжерона, словно бы утешая. – Я не токмо был на последнем обеде императора Павла, но и ужинал с ним. Нас собралось двадцать персон. Против государя сидела моя старшая дочь Прасковья, и Павел Петрович разговаривал с нею весело и беззаботно... Слухи, господа, причисляют меня к участникам заговора. Более того, рассказывают, будто я после ужина играл в картишки с Андреем Семеновичем Кологривовым. Посреди партии открыл часы, убедился, что время пришло и арестовал генерал-лейтенанта. Все это так и было! Голенищев-Кутузов арестовал Кологривова, но не Михаил Илларионович, а Павел Васильевич. О господа! Испытание – быть участником исторических событий. Император все время говорил пророческое, и никто из нас, бывших с ним, этого не понимал. После ужина Павел Петрович, глядя в зеркало, сказал мне: «Посмотрите, какое смешное! Моя шея на сторону». И через несколько минут, прощаясь, почему-то вспомнил пословицу: «На тот свет иттить – не котомки шить». Все сие за полтора часа до трагедии.

Разговор за столом получился опасно откровенным. Впрочем, Михаил Илларионович умолчал еще об одном пророчестве. Великий князь Александр чихнул во время обеда, и Павел тотчас поздравил сына: «За исполнение Ваших желаний».

Столь удивительная доверчивость расположила к главнокомандующему штабных офицеров – это само собою – но и Ланжерона! Ретивый генерал даже в мыслях не мог себе представить, какое неожиданное известие получит он завтра из ставки Кутузова.

Удар льва

Кутузов и Марков – орлы суворовского гнезда. Куда только подевались старческая медлительность, изнуряющая быстрых осторожность?!

Суда и паромы, тайно неделями доставлявшиеся с Ольты, корабли Дунайской флотилии, стоявшие на реке Лом, в ночь с первого на второе октября переправили корпус генерала Маркова в двадцати верстах от Рушука, выше по течению. Причем конница одолела многоводный Дунай вплавь.

Утром, когда турки собирались встретить солнце намазом, среди ясного неба полыхнули молнии, лопнули гранаты, завизжала, как бешеная, картечь, и уже в следующее мгновение пораженное карой небесной воинство ислама увидело лес штыков и лавину конницы, обтекающую редуты боевого лагеря.

Какое там сражение! Было безумное бегство от смерти и жестокая резня.

На плечах отступающих пехота Евгения Иванович Маркова захватила лагерь со всем его богатством.

Из-за реки Ахмед-паша с ужасом взирал на разгром, помешать коему было невозможно.

Уже в полдень Кутузов слушал доклад адъютанта генерала Маркова:

– Приказ исполнен. Потери противника – три с половиной тысячи убитыми, четыреста солдат взяты в плен. Захвачено восемь пушек, двадцать два знамени и весь обоз с продовольствием, с порохом, со свинцом, с казной. А главное, взят берег и все турецкие суда. Сношение лагеря визиря с Рушуком прервано. Убитых и раненых с нашей стороны сорок девять человек. Ольвиопольского гусарского полка майор Бибикив из-за его храбрости ранен и попал в плен.

Главнокомандующий Молдавской армии тотчас отправил сообщение о взятии турецкого лагеря на правом берегу Дуная министру Барклаю де Толли: «Благоразумие и быстрота генерала Маркова превосходят все похвалы».

Нападавший, выжидавший наивыгоднейшего момента для уничтожения противника – за одно несчастное утро оказался в окружении и на краю неотвратимой гибели.

– Вот он вам, старичок Кутузов! – Солдаты веселыми глазами поглядывали на хулителей командующего: на Ланжерона, на штабную немецкую спесь.

Михаил Илларионович радости не скрывал – победа редкостная, а в сердце покалывало: за успех плачено пленением родного человека.

Однако ж вечером Марков прислал парламентаря из Рушука. Вели-паша и целое министерство, кое визирь привез на войну, просили пропустить своего посланца к Ахмед-паше, с требованием начать немедленно переговоры о заключении мира, предварив сей шаг перемирием.

Вели-паша предлагал также разменять пленного майора.

Кутузов посланца пашей к Ахмед-паше не пропустил, но обязался передавать письма туда и обратно.

Впрочем, визирь сам прислал своего человека: предлагал перемирие.

– Попался воитель, – посмеивался Кутузов. – Сам в мышеловку припрыгал.

Ночью на Дунае поднялась буря, дождь лил, будто лошадей нахлестывал.

Утром Кутузову сообщили: Ахмед-паша, рискуя утонуть, на лодчонке с двумя гребцами бежал в Рушук. Но и Рушук был в осаде.

Через неделю после победного рейда Маркова Михаил Илларионович отчитывался супруге Екатерине Ильиничне:

«Я, мой друг, слава богу, здоров, только так устал, что насилу хожу – несколько месяцев на аванпостах. С визирем зачал и о мире говорить. Турки, которые заперты восемь дней, уже едят лошадиное мясо, без хлеба и без соли, и не сдаются. Вот письмо к Катерине Алексан-

дровне Бибиковой. Отправьте от себя и поручите кому сказать ей осторожно. Впрочем, ему очень хорошо и он здоров. Визирь мне приказал сказать, что он хочет опробовать, где ему лучше будет жить, у дяди или у отца, то есть отец он. Вчерась к визирю привезли десять лимонов, из которых он отдал ему пять. Детей всех благодарю за письма, с вчерашнем курьером получил. Боже их благослови. Федора Петровича благодарю за табак».

Еще через неделю Ахмед-паша отпустил майора Бибикова без размена и без каких-либо просьб. Пашенька был ранен в руку. Рана опасности не вызывала, но Михаил Илларионович отправил храбреца гусара в отпуск, на домашнее излечение.

А между тем турецкий лагерь на левом берегу постоянно обстреливался и с редутов, и с реки. Пушки на кораблях стояли небольшие, 24-фунтовые, да ведь каждое ядро – чья-то смерть или увечье.

Наконец перемирие было заключено. Сначала предварительное. Кутузов взял на себя продовольственное обеспечение турецкого лагеря, но выдавал сухарей по фунту на человека, мяса позволял купить три тысячи фунтов на день, а едоков осталось тысяч двенадцать...

Только через месяц, в конце ноября 1811 года остатки армии Ахмед-паши были выведены из лагеря. Турки не были пленными, их разместили по деревням ждать заключения мира.

Русские корпуса, по соглашению с визирем, вернулись на левый берег Дуная. Война закончилась.

26 ноября Михаил Илларионович сообщил Екатерине Ильинична радость: «Я, слава богу, здоров, мой друг, всё у меня хорошо и всё по желанию... Забыл тебя поздравить графиней».

16 сентября генералу от инфантерии Кутузову исполнилось шестьдесят шесть лет, а 18 октября царь пожаловал главнокомандующему Молдавской армии титул графа.

– По желанию у него! – заливалась счастливым смехом графиня Екатерина Ильинична. Ей сообщили о Гуниани. – Вот старик! – восхищалась своим генералом сподвижница его походов, мать его дочерей. – Он всегда обожал наш пол. Боготворит его и по сей день.

Часть вторая Государственный секретарь и другие

Открытие лица

Граф Алексей Кириллович, величавый, державный в своем доме, вдруг выказал себя суетливым и даже трусящим: предстояло открытие Лицея.

Экзамены в святая-святых, где будут растить мужей судьбоносных, предназначенных для служб государю и государству, прошли еще в августе. Отобрано тридцать отроков, умноглазых, отраднеликих, все из хороших семейств, но не оконфузятся ли перед государем и царствующим семейством? Покажутся ли достойными предлагаемые условия жизни воспитанников, приглянутся ли учителя?

Алексей Кириллович ежедневно мчался в Царское Село, сам осматривал воспитанников, сам проводил репетиции. Учеников строили, вводили в залу. Указывали, как надобно стоять, как выходить из строя. Учили кланяться креслам, в коих будут сидеть их величества, их высочества. С поклонами пришлось помучиться. У одних – недопустимая развязность в движениях, у других ничем неодолимая скованность, а иные с их поклонами хуже скоморохов – нелепы!

Алексей Кириллович всякий приезд поднимался на четвертый этаж, и, вместе с Василием Федоровичем Малиновским – директором, с инспектором Пилецким-Урбановичем, осматривали дортуар воспитанников.

Множество дверей – у каждого воспитанника своя комната. На двери номер, имя, фамилия.

Комната-келия. Кровать железная. Государь любит строгое воспитание. Ничего лишнего. Конторка с чернильницей, подсвечник, щипцы для свечей, стул. Небольшой комод, зеркало. Умывальный столик. Прохладно. Государь одобряет закаливание. Зимой, в морозы, принимает парады в одном мундире.

Богато в зале. Зеркала во всю стену, паркетный пол, мебель штофная.

Алексея Кирилловича беспокоила форма воспитанников. Мундиры синего сукна с красными воротниками, петлицы шиты серебром – отличие первокурсников. В старших классах получают золотые. Белые панталоны – Господи! – какого цвета они будут через неделю? Белые жилеты, белые галстуки. Красиво, но не надолго. Ботфорты, треуголка! Это государю нравится.

Министр в последний раз всё взвешивал, просчитывал варианты возможного высочайшего неудовольствия.

Естественные науки, историю, археологию граф Жозеф де Местр, фактический генерал ордена иезуитов в России, назвал вредными и не рекомендовал вводить в программу Лицея. Де Местр – посланник королевства Сардинии, но его не столько занимает дипломатия, сколько внедрение в умы вельможной России ценностей католического Запада. Генерал ордена иезуитов ненавидит православие, но в петербургских салонах слывет гением мысли. Мнение де Местра о программе Лицея граф Алексей Кириллович передал Александру. Император, как всегда, поступил половинчато. Естественные науки из программы исключил, но историю оставил.

Директор Лицея Василий Федорович Малиновский из дипломатов, сын священника. Алексей Кириллович прочитал несколько его статей. В «Рассуждении о мире и войне» Малиновский изничтожил завоевательную политику, проповедовал общий справедливый мир. Это современно, позиция вполне антинаполеоновская, отвечает стремлениям государя. В журнальных статьях Василий Федорович ратовал за равенство народов и людей, желал России про-

мышленного развития и в особенности культурного. Сие не расходится с политикой Михаила Михайловича Сперанского, а Сперанский Александру покуда угоден.

Некоторые сомнения у министра возникали по поводу адъюнкт-профессора нравственных и политических наук Александра Петровича Куницына. Уж больно свободен в слове, мыслит не пером по бумаге, а в речах. Мимолетное, только что пришедшее на ум, может объявить неоспоримой истиной. Впрочем, страстный последователь Руссо, свой, масон.

И вот – 19 октября, день пророка Иоиля, прозревшего о дне Пятидесятницы: «Излию от Духа Моего на всякую плоть».

Всё прошло замечательно.

Были скучные нотации, кинувшие высочайшую публику в сон, и была пламенная речь Куницына, всех окрылившая. Государь за сию речь наградил молодого профессора орденом. Удостоился звезды и главный устроитель лицея – министр просвещения граф Алексей Кириллович Разумовский.

Покончив с лицейскими делами, хотя они только теперь и начинались, граф обрел покой и ни на кого в доме своем уже не сердился, был приветлив, доступен.

За столом так даже делился наблюдениями об участниках церемонии. Граф был зорек, когда нервы напряжены.

– Я приметил, Мария Михайловна, – говорил граф своей сожительнице, – сколь тяжкую ношу влачит на своих плечах наш государь. Какое утомленное у него лицо! Глаза воспалены. Он работает с утра до полуночи. Слава богу, мой Лицей ему в отраду. И вот что замечательно. Воспитанники, я это видел, понимали: сама история пришла к ним. Лица пылали любовью к государю. Когда отроки серьезны – взрослые улыбаются, но сколь счастливо расцветали все эти мордашки после своего представления государю и высочайшему семейству... Меня немножко напугал арапчонок Пушкин. Истинный арапчонок, хоть и синеглаз, как государь. Волосы кучерявые, в глазах огонь, и носик у него этакий... африканский, одним словом.

– А напугал-то чем? – спросила Мария Михайловна.

– Господи! Уж так воззрился на государыню Елизавету Алексеевну. Как на божество!

– Плохо ли сие? Они же у вашего сиятельства – дети. Им лет по десяти?

– В основном тринадцать. Пушкину – двенадцать...

– Выходит, обошлось, – сказала добродушная Мария Михайловна.

– Обошлось! – засмеялся граф. – Я голубчикам воли не дам. Уже написал распоряжение: запретить отпуска и посещения. Видеться с родными можно будет только по праздникам.

– Для столь юных особ не жестоко ли испытание? – осторожно спросила Мария Михайловна.

– Жестоко, – согласился граф. – Их у меня тридцать, и все они будут за шесть лет учебы и жизни в одних стенах – родней. Будущее им загадано самое блистательное. Занявши высокие посты в государстве, они палок в колеса не станут совать друг другу, как делается у нынешних чиновников. Это будет семья. Все народят детей – и вот она каста. Каста высоких духом государственныхников. Мы, дорогая, далеко заглядываем.

– А что Мартынов, не огорчает ли ваше сиятельство?

– Эко вспомнила! Я ненавидел сего наискучнеешего чиновника, будучи попечителем Московского университета, подлеише меня донимал мелочными придирами. Ныне иное. Я испытываю истинное наслаждение, когда сей бывший враг докладывает мне стоя и потом, согнув спину, засыпает песком им составленную, но мною подписанную бумагу... Он мне полезен, и бог с ним.

Мария Михайловна радовалась доброму настроению графа и раздумывала, уместно ли напомнить об Алексее... Алексей вступил-таки в армию, и граф о нем забыл накрепко. А в армии без протекции далеко не пойдешь.

Но господин министр был поглощен заботами об одном только любезном ему Лицее.

– Я много думаю о судьбе моих отроков, – признался Алексей Кириллович. – Они достигнут служебной зрелости лет через тридцать, а государственной так и через все сорок. Суждено ли кому-то из них быть водителем государственного корабля, прославить себя и нас, их попечителей, саму Россию?.. Все умненькие, все по-своему милы. Быть ли Ломоносову Ломоносовым, а князю Горчакову князем в делах, к коим будет определен предназначением свыше? Самый даровитый из воспитанников Вольховский, но в учении. Явит ли даровитость в службе? Пушкин, я сие приметил, бесенок. Такому потолок – чин надворного советника. Матюшкин мне нравится. Серьезность во взгляде, в жестах, в ответах. Чучелом среди тридцати смотрится один Кюхельбекер, но память у него потрясающая! Корнилов, Юдин, Маслов – этим быть генералами. Кстати, сынок моего Мартынова среди лицеистов. Не думаю, чтоб дальше отца пошел. Породы нет. – И потряс головой: – Пора освободиться от лицейского сего наваждения.

Мария Михайловна встрепелулась об Алексее напомнить, и духа не хватило.

– Лев и Василий макет в училище лепили. Сам князь Волконский их похвалил.

– Слава богу, хоть младшие растут не дураками! – сказал граф, и Мария Михайловна мысленно перекрестилась: об Алексее невпопад бы пришлось.

Сказала, чтоб унять забившееся сердце:

– Из Москвы пишут: князь Петр Вяземский 18-го октября венчался с дочерью князя Федора Сергеевичей Гагарина. Вера Федоровна старше мужа на два года. Князь-то Петр молод, восемнадцать всего. Промотал, пишут, богатейшее состояние.

– Зато поумнел. В службу просится, – сказал граф и глянул на портрет отца: Кирилла Григорьевич такое оставил состояние – на пятерых сыновей, на четырех дочерей хватило, и все богаты. Но то счастье Розумов.

У художника

По Неве над полыньями стояли кущи тумана. Кудрявые, цветущие поверху розами – солнце наконец-то пробилось.

Мороз за двадцать градусов, великий князь Константин отменил парад. Вот они и мчались в санках с Невского на Васильевский.

Солнце словно бы взмахивало ресницами, и морозная густая взвесь то вспыхивала сияющими искорками, то мрачно меркла.

– Степан! Степан! Ожги лошадей! – кричал кучеру хозяин санок прапорщик Николай Дурново.

Школу колонновожатых Николай Дмитриевич закончил еще в апреле, с апреля имеет офицерский чин и должность адъютанта управляющего квартирмейстерскою частью Свиты Его Императорского Величества генерал-лейтенанта Волконского.

Дурново вез своих приятелей братьев Перовских к художнику, к которому заказал портрет в рост и миниатюру.

Впереди ехали санки с семёновцами. Как же не обогнать лейб-гвардейцев?

Степан постарался, его гнедая пара обошла пару серых возле Академии художеств. И тут Василий закричал:

– Стойте! Стойте! Чаадаевы! Это же Чаадаевы!

– Перовские! – радостно откликнулся Петр.

Остановились, выскочили из санок, обнялись.

– Ба! Вы уже в чинах! – простецки радовался Петр. – С нашим вызовом дело затянулось. Мы только седьмого декабря из Москвы. Да еще в Твери задержались. Профессор Буль теперь служит библиотекарем у великой княгини Екатерины Павловны. Господи! Сколько же люди могут знать! Буль уговаривал нас не идти в военную службу. Но, как видите, мы с Михаилом юнкера. Господин прапорщик! Господа унтер-офицеры!

Перовские представили Чаадаевым Дурново, обменялись адресами, разъехались.

Художник жил на третьем этаже, над деревьями. Они ввалились в прихожую, сбросили шубы.

– У меня сегодня натоплено, – улыбался художник, приглашая молодых людей в мастерскую.

Василий побежал глазами по стенам, по картинам. И будто огнем в лицо! На помосте, задрапированном розовым шелком, стояла, облокотясь рукою на мраморную колонну, совершенно... ну, просто совершенно... обнаженная...

– Моя Афродита! – засмеялся художник, с удовольствием глядя на женщину. Глаза у него блестели. – Вот ведь какие водятся в Обжорном ряду на Васильевском. Поздоровайся с господами, назовись!

Женщина поклонилась:

– Кланей зовут!

И снова приняла прежнюю позу богини.

У Василия пылало лицо, Лев тоже был как пряник розовый. А Дурново хоть бы что! Постоял с художником, любуясь на Кланю, будто она картина. С серьезным, с озабоченным видом принялся рассматривать свой портрет, всё еще недописанный.

– Что скажете? – спросил у братьев.

– Сходство замечательное! – одобрил Лев.

– Рука вроде бы коротка! – обрадовался Василий возможности посмотреть на что-то иное.

– А ведь коротка! – удивился Дурново.

– Да... локоть надобно отвести. – Художник картонкою прикрыл руку, лежащую на эфесе палаша. – Отвести локоть и чуть-чуть тронуть запястье. Я поправлю, Николай Дмитриевич. Не выпить ли вина, господа?

– Нам еще в штабе надо быть, – сказал Дурново.

– Тогда кофе. Кланя, подай господам кофе.

Богиня сошла с помоста, облачилась в пушистый белых халат, в мягкие туфли. Василий снова глядел на стены: какие-то парки с развалинами, пруды, на прудах розовые голенькие нимфы. Нева. Зимний дворец. Портреты вельмож...

– Я всё умею! – улыбнулся художник. – В Петербурге надобно всё уметь... Ну что, господа, мы можем поздравить себя с очередной победой над турками? Старец Кутузов на сей раз не подвел.

– Государь недоволен главнокомандующим, – сказал Дурново. – Турки мира не подписывают, а Кутузов, как всегда, чего-то ждет. Государь приказал разорвать перемирие... И вообще Кутузова давно бы заменили, но наш государь не охотник делать людям больно.

– Ах, все-таки надо было подать вина! – посокрушался художник. – Мы подняли бы тост за доброе сердце нашего императора.

Натурщица принесла кофе. Она так близко наклонилась над Василием, что он уловил ноздрями запах ее тела. Так, кажется, само солнце пахнет.

– Я вчера был у Гнедича, – сказал художник. – Он, слава богу, имеет теперь квартиру в библиотеке, на этаж выше Крылова. Светло, просторно и, главное, для голоса хорошо. В иных домах голос глохнет, а в квартире Гнедича вещей немного. Он ведь Семёнову декламации учит. У Семеновой каждое словечко – хрусталь. Поющий хрусталь, господа!

– Не все-то одобряют, что Семенова поет слова, как Жорж, – возразил Дурново. – Говорят, это Гнедич сбил ее с толку. Он ведь распевает свою «Илиаду».

– Госпожа Жорж опять в Париже! – Художник повздыхал. – Бриллиант! Чистой воды бриллиант! Рассказывают: будучи любовницей Наполеона, мадемуазель просила у него портрет. А он кинул ей горсть бриллиантов и среди них несколько золотых монет со своим профилем.

Натурщица снова наклонилась над Василием, забирая пустую чашечку. Он чувствовал ее грудь на плече и не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Такое с ним уже бывало, на кутеже у князя Вяземского, но там кутили, там было много бесстыдниц, а здесь – искусство.

«Господи! Когда же кончится эта мука?»

– Я потерял всякую надежду видеть Семенову, – сказал Лев.

– Перовские – терпение! Ещё немножко терпения. Вы получите офицерский чин если не к Рождеству, так ко дню рождения государя. Между прочим, Державин десять лет тянул солдатскую лямку. Разумеется, лишенный театра и общества.

Пора было в штаб. Завтрашние колонновожатые везли представить начальнику топографического отделения полковнику Пенскому чертежи карт.

С Невы тянуло ветром, мороз обжигал щеки.

– А знаете, – повернулся к братьям Дурново, – мы, конечно, все мечтаем схватиться с Наполеоном, только как же нам хорошо теперь...

Знамение

Год, измотавший нервы, забравший столько сил, наконец-то кончился. Александр, снимая напряжение, писал Екатерине Павловне, жаловался. Отношения с Францией превратились в натянутые до предела струны. Война может грянуть не завтра, не послезавтра, но – в любую минуту. Жизнь собачья. С кровати и за письменный стол. Давно уже нет возможности отобедать – перекусывает наедине, глядя в бумаги.

Отложив перо, Александр прокручивал в голове последние донесения.

Дела у Наполеона прескверные.

Нехватка хлеба во Франции вынудила установить максимум твердых цен и на хлеб, и на прочие продукты питания.

Война в Испании для французов идет несчастливо. Сулыт разбит под Кадиксом, Сюше под Арагоном, Массена под Фуенте. В Италии процветает бандитизм. Наполеон был вынужден послать несколько французских полков, чтоб покончить с разбоем хотя бы вокруг Рима. Король Вестфалии Жером прислал брату отчаянное письмо: «Брожение достигло высшей точки; возникают и с воодушевлением обсуждаются самые безумные мечты. Ссылаются на пример Испании, и если война разразится, то все земли между Рейном и Одером станут очагом широкого и мощного восстания...» Жерому вторил генерал Раки: «При первой военной неудаче от Рейна до Сибири все поднимутся против нас». Даже старый лис Фуше осмелился предупредить великого Наполеона: «Государь, я вас умоляю, во имя Франции, во имя Вашей славы, во имя Вашей и нашей безопасности, вложите меч в ножны. Вспомните о Карле XII».

Все говорят умно, говорят правду, но ведь это только подогревает Наполеона. Он не тот, кто забывается в вине, его вино – победы. Победрами будет лечить больную свою империю.

Александр вспомнил «откровенный» разговор с иезуитом Жозефом де Местром. Сказал ему главное, надеясь, что именно эти слова дойдут до ушей Наполеона: «Император открыл мне в Эрфурте секрет своих необычайных успехов. Он сказал: “На войне все решает упрямство”. И будьте уверены, я запомнил сей урок».

Невольно подумалось, а кого он, самодержец России, сможет выставить против гения войны... Багратион, Беннигсен, Витгенштейн, Барклай де Толли... Выплывало имя Кутузова, но Александр только морщился.

Барклай де Толли... Умница. Стратег...

Александр помнил свою давнюю встречу с генерал-майором Барклаем. Барклай был ранен под Эйлау, лечился в Мемеле. Александр посетил генерала в госпитале и был очарован откровенностью и глубиной мыслей военного человека. Александр спросил: есть ли надежда победить Наполеона? И услышал правду. Генерал усомнился в возможности разгрома французской армии в одном сражении, если при ней Наполеон. Устоять ценою ужасных потерь можно, но победить, гнать, вынуждать сдаваться в плен...

«Единственное оружие, смертельное для Наполеона, – сказал тогда Барклай, – есть терпеливое, изнуряющее отступление в глубь страны. Чем дальше склады с продовольствием, фуражом и вооружениями, тем уязвимее армия. Вторую Полтаву Наполеону можно устроить где-нибудь на берегах Волги. Ни счастье, ни искусство не помогут полководцу, когда его войска начнут истреблять голод, мороз и болезни».

Александр, расставаясь с Барклаем, наградил его Владимиром II степени, произвел в генерал-лейтенанты.

Однако ж у Барклая среди русских генералов есть противники. Багратион, Кутузов, разумеется, Голицын и этот жуткий правдолюб Остерман-Толстой.

Остерман-Толстой, «переименованный Павлом» из генерал-майоров в статские советники, получил обратно свое генерал-майорство от Александра. Казалось бы... В войнах с

Наполеоном являл чудеса храбрости, полководческой интуиции. И оказался главой военной оппозиции после Тильзита.

О, эти русские! В тот самый день, когда Барклай де Толли получил за финский поход генерала от инфантерии и был назначен военным министром, Остерман-Толстой подал в отставку, а свет вспомнил слова Ермолова. В сражении под Черновым, где дивизия Остермана противостояла самому Наполеону и отбила две атаки маршала Даву, Остерман потерял обоз. Но только потому, что арьергард Барклая почти бежал от французов. Тогда Ермолов и сказал: «Бой при Гофе не делает чести генералу Барклаю де Толли». Слова запомнили и повторили.

Итак, Барклай де Толли нехорош для русских, ибо не русский, шотландец, но сами-то чего стоят? Кутузов омерзителен угодливостью. В бытность генерал-губернатором Петербурга, он ни единого раза не возразил. Даже в том случае, когда возражение было весьма необходимо. А несчастье под Аустерлицем? Все говорят: Кутузова не слушали, Кутузова отстранили от командования. Но разве сей главнокомандующий поперечил хоть в чем-то? Возражал, но как? Потом уж выяснилось: гофмаршала графа Толстого подсылал: «Уговорите государя не давать сражения!» На что граф резонно ответил: «Мое дело соусы да жаркое. Война ваше дело».

У Александра разболелась голова, и тут появился флигель-адъютант:

– Ваше Величество, горит театр!

– Это что, подарок к Новому году?! Вот каковы последние часы 1811-го!..

Флигель-адъютант шелкнул каблуками, но сказать что-либо не решился.

Царь поехал на пожар. В театре шел французский спектакль. Директор Александр Львович Нарышкин в театре не был. Празднуя новолетие, давал, как всегда, роскошный бал.

Публика и актеры остались, слава богу, невредимы, но где-то на верхних этажах кричала женщина. Несчастную спас пожарник, спустил по веревочной лестнице.

Александр наградил смельчака рублем.

Народ царя узнавал, те, кто посмелее, поздравляли с Новым годом.

Пожар людям нравился, горело замечательно, пламя облака облизывало.

Царь слышал смешки:

– Французики погорели. Таким манером и Бунапарте ихний сгорит.

– Знамение!

– Знамение, – согласился Александр, отправляясь к себе: старый театр пропал, новый придется строить.

Царю было холодно: как знать, не в эти ли самые минуты посол князь Куракин поднимает в Париже тост «За нерушимую дружбу двух императоров».

Комета

Первого января 1812 года унтер-офицеры Перовский 1-й и Перовский 2-й несли дежурство в Зимнем дворце. Император Александр, императрица Елизавета давали новогодний маскарад. Почти всенародный. На маскарад получали приглашения не только князья, графья и бароны, но также чиновники средней руки, купечество.

Восторг исполнения столь важной службы уже через полчаса – а маскарад начинался в девять часов вечера – потускнел. Дежурство превратилось в испытание. Людей – толпы, жара, духота, но ворота на мундире не распахнешь.

– У меня от пота в сапогах хлюпает! – признался Василий Льву.

– Вот она какая, дворцовая служба! – шепнул братьям Дурново.

Он, счастливец, был среди приглашенных, поотирался в толпе, мелькнул перед глазами начальства – и домой!

– Говорят, как проведешь новогоднюю ночь, таким и весь год будет, – мрачно буркнул брату умеющий быть терпеливым Лев.

– Жарко, но ведь в Зимнем! – не согласился Василий. – Царя видели, царицу. А сколько генералов!

– Интересно, где теперь Алексей? – вспомнил о старшем брате Лев.

– Горилку с казаками пьет.

Первый день Нового года провели среди толп – значит, и самим весь год придется быть толпою. Смешные приметы! Уже назавтра жизнь пошла заурядная. Над составлением карт корпели – такая она, квартирмейстерская служба. Зато спалось хорошо, а на дворе-то святки.

Василий сквозь сон почувствовал: трогают за плечо, будят. Открыл глаза – никого. На окнах бельма мороза. В комнате тепло и не темно.

Испуга не было. Но кто-то ведь будил. Быстро оделся, на голову треух, ноги в валенки, набросил на плечи шубу.

Открыл дверь – обожгло! Щеки, ноздри. Запахнул полы шубы, руки спрятал в рукава.

Луна в облаке, небо яростно перечеркивает комета. О комете уже говорили, но Василий видел ее первый раз. Содрогнулся от озноба: комета будто ради него, унтер-офицера Перовского 2-го, пожаловала.

Показалась луна, от деревьев поползли по снегу тени, и Василий, испугавшись как в детстве, заскочил в дом, хлопнув за собою дверью.

Скидывал одежду так, будто она горела на нем, юркнул под одеяло, подогнул колени к груди. Тепло, тихо, покойно...

Осенило: кометы для царств страшны, для царей.

Вытянул ноги, положил ладонь под голову, теперь только сна подождать.

И вот уже Лев торопит, негодуя:

– Скорее! Скорее! Парад с утра!

Государь парад отменил. Колонновожатых построили на замерзшей Неве перед Зимним дворцом только в одиннадцать. Высокопреосвященный, священство, золотые митры, золотые саккосы, сияющие драгоценными камнями ризы икон, сияющие кресты, аромат ладана.

Торжественное освящение гвардейских знамен.

Император Александр и великий князь Константин обнажили головы. Церемония длилась час, а мороз не жаловал.

Вернувшись в училище, Василий поглядел на термометр: двенадцать градусов ниже нуля.

Курсантов отпустили готовиться к экзаменам. Экзамены через десять дней и, к ужасу будущих колонновожатых, – публичные.

Лев удумал пригласить истопника. Перед ним, заменявшим публику, и гоняли друг друга по всем предметам.

Истопник ростом великан, осанкою вельможа, но глядел на братьев подслеповато, понимающе головой кивал. За терпение решили дать ему на водку. Лев спросил:

– Сколько тебе? На чару, на две?

– На два штофа, – сказал правду истопник. – Иначе и пить не стоит, не разберёт.

Вечером читали по очереди, вслух «Трактат о больших военных операциях» Наполеоновского генерала Антона Генриха Жомини.

Кто-то из дворни сунул голову в их флигелек:

– Аничков дворец горит!

Дворец принадлежал в ту пору Екатерине Павловне. В толпе изумлялись: император со свитой до шести вечера был во дворце, как не учуяли пожара? Хорошо хоть дверей много, в окна не пришлось прыгать.

Кто-то, стоявший к братьям спиной, сказал:

– Вон звезда хвостатая! Хвост с западу, а рылом на восток, в нашу сторону. Дворец горит – страх божий, а коли земля запыляет? Господи, пощади нас, грешных!

Пропал для военной науки вечер, но ведь и дни пропадали.

Двенадцатого хоронили генерала Бауэра. Он в Швейцарском походе Суворова кавалерийской бригадой командовал.

Тринадцатого день рождения императрицы Елизаветы Алексеевны. Будущие колонновожатые участвовали в параде. Шли повзводно. В третьем часу отмаршировались.

И – слава Тебе, Господи! Семнадцатого, в первый день экзаменов, управляющий квартирмейстерской частью князь Волконский объявил: публичных смотрин не будет, всем облачиться в военную форму.

То была ласточка счастья. А само счастье прилетело на золотых крыльях 27 января 1812 года.

Адъютант князя Волконского прапорщик Николай Дурново зачитал перед строем приказ о производстве в офицерский чин прапорщика: Муравьева 5-го, Голицына 2-го, Зинковского, Апраксина, Перовского 2-го, Дитмарха, Мейендорфа 2-го, Цветкова, графа Строганова, Мейендорфа 1-го, Глазова, Фаленберга, Лукаша, Данненберга 2-го, Рамбурга, Перовского 1-го, Муравьева 3-го, Мейендорфа 2-го, Голицына 1-го.

В тот же вечер, в новехоньких офицерских мундирах, Лев и Василий Перовские были в театре. Французская труппа давала «Ричарда Львиное Сердце».

Старый, сгоревший театр обнесли забором, чтоб не бросались в глаза черные руины, а театр устроили на Дворцовой площади, в доме Молчанова.

Французская речь, живой мрамор оголенного по грудь женского тела, бриллианты, аромат духов, эполеты, звезды – жизнь!

Спектакль пролетал мимо глаз, мимо ушей. Василий если и слышал чего, так собственное сердце: «Господи! Как хорошо быть своим в этом дивном мире избранных. Я – офицер. Я – офицер! Господи, слава Тебе!»

А уже на завтра ждало счастье почти невыносимое.

Счастье быть офицером

Утром все восемнадцать прапорщиков, выпускников школы колонновожатых, были представлены императору Александру в Знаменном зале Зимнего дворца.

Император в парадном мундире, за его спиной военный министр Барклай де Толли, генерал-квартирмейстер Сухтелен, два года возглавлявший особую миссию в Швеции, генерал-лейтенант Волконский, управляющий квартирмейстерской частью русской армии, генерал-лейтенант, инспектор инженерного корпуса Опперман, военный советник императора генерал-майор Фуль и ближние люди Александра: великий князь Константин Павлович, председатель Департамента военных дел Государственного Совета, генерал от артиллерии граф Аракчеев.

Василия вызвали пятым. Пожатие сильной доброй руки. Ласковая, одному тебе улыбка, тебе – серьезный, обещающий заботу взгляд и царское напутствие:

– Служите, Перовский, столь же усердно, сколько явили усердия и дарований во время обучения.

То ли Александр решил, что мало пожимать молодым офицерам руку и ободрять взглядом, но сказано было Перовскому. А может быть, государь вспомнил, глядя на золотые кудри прапорщика, самого себя, столь же юного... Чистое восторженное лицо, безупречная синева глаз...

В середине дня дюжина прапорщиков с вестником их счастья Николаем Дурново показали за город в «Красный кабак».

Шампанское! Мерзость устриц. Сумасшедшее катанье с гор.

А уже назавтра – офицерская служба, когда никому были не нужны и никто ничем не занял жаждущих исполнять приказы.

Зато приглашение в желанный для молодого Петербурга дом на Английской набережной. К самому Лавалю.

Иммигрант Лаваль, получивший имя Иван Степанович, был камергером, управляющим Третьей экспедиции – особой канцелярии Министерства иностранных дел. Его приемы посещала столичная знать, дипломатический корпус и самые блистательные гении мира искусств.

Для новоиспеченных колонновожатых – первый самостоятельный выход в свет.

Часы били одиннадцать, когда гостей позвали в зал для спектаклей. В «Любовном обмане» играли знаменитый Дюран – единственный профессиональный актер, а с ним гофмейстер Григорий Александрович Демидов, директор департамента полиции камергер Николай Петрович Свистунов, маркиз Мезонфор, Михаил Михайлович Пушкин, Луи Полиньяк. Потом сыграли еще одну пьеску – «Замысел развода». И начался бал. На бал приехал великий князь Константин.

Василий, танцуя, не верил своему счастью. Он – житель флигелей, воспитанник, не смеющий назвать отца отцом, отныне – свой! Свой всем этим генералам, княгиням, графиням, великому князю Константину, да что там, самому императору – свой!

После бала у Лавалья, устроив трехдневный пост, Василий пошел на исповедь. Покаялся смятенно:

– Батюшка! Мне лезет в голову, что я буду другом царя. Сто раз творил Иисусову молитву, плевал на сатану перед собой и через плечо, а наваждение не оставляет.

Батюшка расцвел добрейшею улыбкой.

– Дивное желание, сын мой! Быть другом царю – Господа радовать. Пусть и далеко придется служить от царских глаз, но держи государя в сердце, как самого ближнего человека. Господь наградит за любовь.

В эти самые дни из Парижа в Петербург мчался «ямщик». Такого прозвища у обоих императоров удостоился полковник Чернышёв за бесконечную гоньбу между столицами. Наполеон передал «ямщику» грозное послание, в коем перечислял свои претензии к России за нарушение блокады Англии. И на словах добавил:

– «Я посылаю Вас к царю как моего полномочного представителя в надежде, что ещё можно будет договориться и не проливать кровь сотни тысяч храбрецов из-за того, что мы, видите ли, не пришли к согласию о цвете лент!»

В кругу своей семьи Наполеон объяснял неминуемость войны мистической необходимостью:

– Я не родился на троне и должен удерживаться на нем тою же силой, что и возведен – славой.

Гора войны

Братья Перовские до назначения в полки служили в топографическом отделении полковника Пенского. Чертить карты дело кропотливое, требующее терпения, аккуратности. Но в чертежной три-четыре часа, а дальше – праздник жизни.

Вечером 20 февраля Василий и Лев были на спектакле «Оракул из Ирато, или Похищение», на завтра танцевальный вечер в доме князя Николая Григорьевича Репнина и княгини Варвары Алексеевны, их сводной сестры.

Варвара Алексеевна – дочь Алексея Кирилловича Разумовского и Варвары Петровны Шереметевой – проявляла к братьям почти материнскую заботу. Она была старше Василия на семнадцать лет, Льва на четырнадцать. Ее заступничество помогло и Алексею поступить в армию: Репнин – генерал от кавалерии.

Во время ужина братья оказались в соседстве с Сергеем Волконским, ротмистром, кавалергардом. Волконский знал Алексея и спросил, где он теперь.

– В казачьем полку, – отвечал Василий. – Ротмистр. Граф Алексей Кириллович не благословил идти в армию, но князь Репнин дал рекомендации...

– Репнин! Репнин! – Кавалергард даже за ус себя дернул. – Николай Григорьевич такой же Волконский, как и я. Брат принял фамилию матушки, ибо род Репниных угас... Как вам в северной столице? Я знаю от Варвары Алексеевны – вы коренные москвичи.

– Моя родина Почеп, – нежданно для себя разоткровенничался Василий. – Манежи в Петербурге такие же, как в Москве, я по степи скачаю. Скакать, вспугивая жаворонков, по ковылям...

– Как по морю! – подхватил Волконский. – Мой батюшка – оренбургский генерал-губернатор. Вот где степи! А какая охота! Сайгаки, волки! Киргизы волков загоняют до изнеможения и голыми руками вяжут. А тетеревей! Сколько там тетеревей! И все ведь красавцы. Господа, приглашаю вас на охоту в Оренбург; ежели, разумеется, нас не позовет на кровавое пиршество коронованный корсиканец. Мой брат испытал его плен и даже надерзил гению войны.

– Наполеону?! – изумился Василий.

– Брат был ранен под Аустерлицем. Наполеон предложил ему свободу под честное слово два года не воевать с французами. Брат предпочел плен.

Перовские были в восторге от вечера, а отчет о том, как их встретили в доме Варвары Алексеевны, пришлось давать самому благодетелю.

– Князь Григорий Семенович Волконский человек добрейший и губернатор отменный. – Приглашение сыновьям посетить Оренбург графу пришлось по сердцу. – Мы избрали князя Почетным членом Императорского общества испытателей природы, где я до сих пор еще президентствую... Князь человек незаурядный, о его странностях много анекдотов. Турки саблей по голове угостили. Рассказывают, будто князь по своему Оренбургу хаживает в халате, на коем все его ордена. Дети бегают за ним, как за блаженным, а он сей свите радуется.

Граф ощутимо потеплел к своим воспитанникам, отцовская тревога была в его глазах: война надвигалась на Россию.

Еще как надвигалась. Наутро после танцев у Репниных братья были в манеже Михайловского замка. Император Александр устроил инспекцию гренадерскому полку, коему надлежало выступить в поход на западную границу.

Через день-другой однокашник Перовских Голицын 1-й отбыл в Стокгольм, прикомандированный к свите генерал-квартирмейстера Сухтелена. Ехали заключать тайный договор с Бернадотом против Наполеона. Если Швеция ударит с севера – воевать придется на два фронта.

28 февраля отбыл в армию полковник Пенский, их начальник. А 29-го, в Касьянов день, Василий, сопровождавший во дворец, вместе с Дурново, их начальника князя Волконского, видели флигель-адъютанта Чернышёва.

– Чернышёв привез войну, – сказал Дурново Василию. – Ужасную войну. Воевать с Наполеоном – воевать с Европой.

Барабанный бой оглашал Петербург. 2-го марта император Александр на Семеновском плацу инспектировал лейб-гвардии Егерский и Финляндский полки, Гвардейский экипаж. Все эти части отправлялись в Польшу.

5-го марта проводили в Польшу гвардейскую артиллерию. 7-го – Измайловский и Литовский полки.

А днем раньше, 6-го марта, Наполеон произнес речь в Государственном совете. Крылатый человек и говорит крылато:

– Всякий, кто протягивает руку Англии – объявляет себя врагом императора Франция. Сказано было на весь мир, но для ушей Александра и России.

Министры Франции, обеспокоенные ультиматумом – граф Мольен, герцог Гаэте, генерал Дюрок, князь Талейран – являлись к Наполеону с расчетами ужасных затрат на столь обременительную войну, предупреждали о русском бездорожье, о суровости русской зимы.

– Кампания будет короткой, – отвечал Наполеон.

Словно бы в ответ на безумство живущего разбоем повелителя Европы, 12-го марта Петербург спокойно и величаво отпраздновал день восшествия на престол императора Александра. Миром величалась Россия. О мире молилась. Но куда денешься от забот.

Война на пороге, а место государственного секретаря занято обожателем Наполеона Сперанским. Нужна перемена. Сердце лепилось к блистательному Карамзину. Однако ж выученик бабушки, убийца горьколюбимого отца, к своим душевным привязанностям доверия не имел. Желание распирает грудь, распяляет голову – вот тебе ушат ледяной воды!

Сомнения развеял министр полиции Балашов, человек ума практического. Карамзин хорош, да французист. А более русского – кость русским! – чем Шишков, не найти.

Александр внутренне взвился: министр указал на не терпящего благих государственных перемен чудовищно старомодного писаку. Ископаемое! Ненавистник просвещения, блеска талантов, игры фантазии – всего того, чем одарила Франция задавленный серостью католичества мир, не говоря уж о России, этого улья Божьих пчелок, промолившего поколение за поколением.

За день до коронационного праздника государь пригласил вице-адмирала Александра Семеновича Шишкова для наитайнейшей беседы.

Тяжко подавляя в себе неприязнь, поднял небесно синие глаза свои – спасительная синева! – на Александра Семеновича.

Лицо адмирала энергичное, в глазах острый непримиримый ум, седина благородная.

Александр вздохнул, вычеркивая из сердца Карамзина, и сказал просто, твердо, по-царски:

– Я прочитал ваше пламенное и мудрое «Рассуждение о любви к Отечеству». – Показал на отчеркнутые места в журнале, процитировал: – «Воспитание должно быть отечественное, а не чужеземное. Ученый чужестранец может преподавать нам, когда нужно, некоторые знания свои о науках, но не может вложить в душу нашу огня народной гордости, огня любви к Отечеству, точно так же, как я не могу вложить в него чувствований моих к моей матери». Сказано сильно и весьма выразительно. Останавливает внимание и сия ваша мысль: «Народное воспитание есть весьма важное дело, требующее великой прозорливости и предусмотрения. Оно не действует в настоящее время, но prepares счастье и несчастье предбудущих времен и призывает на главу нашу или благословие или клятву потомков».

Александр встал, прошел взад-вперед по кабинету.

– Имея таковые мысли, вы можете быть полезны Отечеству. Кажется, у нас не обойдется без войны с французами, нужно сделать рекрутский набор. Я бы желал, чтобы вы написали о том манифест.

– Государь! – Александр Семенович не пытался скрыть испуга. – Государь! Я никогда не писал подобных бумаг. Это будет первый опыт, а потому не знаю, могу ли достойным образом исполнить сие поручение. Как скоро это надобно?

– Сегодня или завтра. – Александр смотрел синими глазами прямо в душу: понравилась искренность адмирала.

– Сегодня?! Завтра?! Ваше Величество, доношу: я страдаю головными болями.

– Коли что приключится, сроку тебе три дня.

Осталось поклониться, бегом за стол... В кабинет влетел бурей. Положил лист бумаги на стол – и впал в безнадежный штиль.

Господи! Тут не стишки с надеждой на вечное признание потомков, тут подавай бумагу, по слову коей страна должна воспрянуть и вооружиться духом противу неприятеля.

Отыскал на полке свое «Рассуждение о любви к Отечеству», читанное в 1812 году в «Беседе Любителей Русского Слова».

«Некогда рассуждали мы о преимуществе, какое род человеческий получил тем единым, что благость Божия, даровав нам душу, даровала и слово».

– О Господи! Пошли мне слов во исполнение государева повеления.

Понимал, зажечь нужно себя. Без пламени в сердце из-под пера выйдет мертвячина казенная.

«Человек, почитающий себя гражданином света, то есть не принадлежащий никакому народу, делает то же, как бы он не признавал у себя ни отца, ни матери, ни роду, ни племени. Он, исторгаясь из рода людей, причисляет сам себя к роду животных».

– Вот и послужи роду, племени, государю и России!

Глаза бежали по строчкам.

«Что такое Отечество? Страна, где мы родились; колыбель, в которой мы возлелеяны; гнездо, в котором согреты и воспитаны; воздух, которым дышали, земля, где лежат кости отцов наших и куда мы сами ляжем. Какая душа дерзнет расторгнуть сии крепкие узы? Самые звери и птицы любят место рождения своего».

Теплело в груди: славно сказано! Костер для домашних иезуитов, перебежчиков из веры пращуров в европейский мир прямых углов, не ведающий любви.

– Где у меня тут? Вот оно!

– «Сила любви к Отечеству преобладает силу любви ко всему, что нам драгоценно и мило, к женам, к детям нашим и к самим себе».

Порадовался точности приведенных примеров, подтверждающих мысль.

Спартанка спрашивает о детях. Ей отвечают: все трое убиты.

– Так гибнет Отечество наше?

– Нет, оно спасено, торжествует над врагами.

– Иду благодарить богов.

И Регул к месту упомянут. Дивный римский консул, пленник Карфагена, отправленный в Рим добиваться мира и выказавший в сенате громогласно все слабости вражеского войска. Но, дав слово вернуться, Регул поехал-таки к своим врагам и был брошен в бочку, утыканную гвоздями.

– «Гермоген, Патриарх Московский, был наш Регул, – прочитал с удовольствием Александр Семенович. – Люби Царя, Отечество делами твоими, а не словами».

Далее скандировал уже во весь голос, гремя и ликуя:

– «Язык есть душа народа, зеркало нравов, верный показатель просвещения, неумолчный проповедник дел. Возвышается народ, возвышается язык. Никогда безбожник не может

говорить языком Давида. Слава небес не открывается ползающему по земле червю. Никогда развратный не может говорить языком Соломона: свет мудрости не озаряет утопающего в страстях и пороках. Писания зловредных умов не проникнут никогда в храм славы: дар красноречия не спасет от презрения глаголы злочестивых. Где нет в сердцах веры, там нет в языке благочестия».

Господи, благослови!

И уже 13-го марта Петербург читал, а там и вся Россия: «Настоящее состояние дел в Европе требует решительных и твердых мер, неусыпного бодрствования и сильного ополчения, которое могло бы верным и надежным образом оградить Великую Империю Нашу от всех могущих против неё быть неприятных покушений.

1. Собрать во всем Государстве с пятисот душ шестой ревизии по два рекрута.

2. Набор начать во всех губерниях со дня получения о сем указов через две недели и кончить в течение одного месяца».

В этот день Лев и Василий Перовские купили пистолеты и наточили сабли.

Однако ж столичная жизнь текла всё столь же беззаботно: в театре нет свободных мест, гремят мазурки на балах, умничают в салонах.

Взволновало известие из Парижа: 24 февраля 1812 года императорские актеры Франции представили «Цинну», трагедию Корнеля. В заглавной роли явилась Жорж.

По Жорж вздыхали, но вскоре стало не до знаменитостей.

19 марта в одиночестве был сослан в Нижний Новгород государственный секретарь Михаил Михайлович Сперанский. С изумлением говорили: накануне царь работал с ним за полночь.

В Вологду отправился ближайший сотрудник Сперанского Михаил Леонтьевич Магницкий. А полковника, флигель-адъютанта Алексея Васильевича Воейкова, правителя канцелярии военного министра, ближайшего помощника Барклая де Толли, арестовали за переписку с Францией. Однако ж в шпионаже не обвинили, и вскоре полковник отправился в 27-ю дивизию Неверовского, командовать бригадой егерей.

Пошли назначения и среди колонновожатых. В Главную квартиру в Вильно отправились братья Муравьевы, Дурново, Зинковский, Голицын-2-й.

Прошло несколько томительных дней, и определилась судьба братьев Перовских. Ехали квартирмейстерами в казачьи полки, во 2-ю Западную армию. Главная квартира князя Багратиона то ли в Луцке, то ли в Житомире.

Гора войны всё дыбилась, дыбилась, но покуда стояла недвижно.

Граф Огиньский

В Петербург из Парижа, хотя из Парижа отбыл в январе, а теперь апрель, прибыл граф Михал Клеофас Огиньский. В Берлине подзадержался, в Варшаве. Доложил о себе обер-гоф-маршалу Николаю Александровичу Толстому и уже через три дня был приглашен отобедать с императорской четой.

Столь высокая милость оказывалась графу не первый раз. Аристократ, смутьян, сочинитель возвышенно-трагических полонезов, безусловно, до блаженной нелепости честный, Михал Клеофас с первой встречи поразил государя. Царская любовь на дрожжах выгоды, но Александра влекло к Огиньскому, как влечет запретными чудесами книга тайноведенья.

Познакомился с графом два года тому назад в Вильне, дважды приглашал норовистого поляка к своему столу, когда тот посетил Петербург. Обеды заканчивались многочасовыми беседами один на один.

Огиньский был безупречен естественностью. Прекрасная голова, густые вьющиеся волосы, в лице что-то детское, и улыбка детская, но глаза, разучившиеся смеяться.

В двадцать четыре года граф был уже чрезвычайным полномочным послом Польши при Голландской республике, а чуть позже в Англии. Противостояние политике Екатерины в делах Польского королевства кончилось для него утратой имений в Литве и Белоруссии, и чем дальше в лес... Участник восстания Костюшки (на свои деньги сформировал егерский полк), беглец – скрывался под именем слуги соседки-помещицы в Галиции, мыкал жизнь эмигранта в Вене, в Венеции. Не сломался. Продолжая борьбу за восстановление польской государственности, граф вел тайную работу в Стамбуле, искал сторонников среди турецких пашей. Да, слава богу, скоро понял тщетность всех этих тайн. В тайны охотно играли и турки, и важные персоны европейских дворов, но – играли. Огиньский впал в отчаянье, отправился в Европу и уже в Будапеште узнал: умерла Екатерина Великая. Ее наследник Павел, во всем противореча матери, польских эмигрантов помиловал. Помилования русской тирании граф не признал и остался без поместий.

Помилования все-таки просил. О, нет! Не потому что обнищал – гордость дама заносчивая – а потому что отринул путь конфронтации с Россией. Граф возлагал надежду на прозорливость сумасбродного монарха. Павел ответил. Письмо пришло за подписью Ростопчина: «Господин граф! Его Величество император, получив Ваше письмо от 12 марта, признал соответственным отказать в Вашей просьбе».

Имения вернул Огиньскому Александр. Ангел на престоле звал графа на службу, но тот предпочел уединение.

Осел в Залесье, близ Вильны. Самоуничтожительный затвор вдали от мировых бурь длился семь лет. И вот, не стремясь к чинам, к почету, – сенатор Российской империи, тайный советник, впрочем, без места. Но весьма нужный человек. Знакомство с Талейраном, с Лагарпом, с Наполеоном и, прежде всего, авторитет среди ясновельможного панства.

Перед обедом граф передал императору объемистый пакет от Лагарпа, а Елизавете Алексеевне ноты оперы композитора Пэра.

– О мой учитель! О мое детство! – Александр трогательно коснулся лбом еще не открытого послания из Франции. – Граф, подумайте, какая это несуразность! Мой любимый язык – французский, человек, сотворивший меня таким, каков я есть, именно такого я люблю в себе – француз. Вольтер, Дидро, Руссо – восторг мысли, остроумия, человеколюбия. Этим живет просвещенная Россия. – И что же? По злой воле возжелавшего быть господином мира – всё, на чем образ Франции, может в любой день, в любой час превратиться во враждебное, в отвергнутое, ибо несет на себе клеймо войны. Войны, на земном шаре невиданной от века.

Александр высоко поднял плечи, резко опустил, улыбнулся виновато.

– Не к обеду...

– С какую радостью развеял бы я беспокойство Вашего Величества! – Огиньский говорил, покачивая головой, словно не хотел верить тому, что скажет. – Увы! На дорогах Европы обозы, обозы... Перед Варшавой я с трудом обогнал транспорт. Везли ружья, мне сказали: сорок тысяч, а пушки я сам посчитал: их было двести... Говорят, чему быть – не миновать! Но, Господи, миновало бы!

Александр, соглашаясь, прикрыл глаза веками и посмотрел на императрицу.

Огиньский прочел огорчение во взгляде государя. Поспешил обратиться к Елизавете Алексеевне:

– Ваше Величество, мне довелось перед отъездом из Парижа разговаривать с актрисой Жорж. Она, вспоминая встречи с Вашим Величеством, роняла слезы. Именно роняла. Я никогда не видел таких крупных, таких необычайных слез. Лицо Жорж светилось, глаза блестели удивительно хорошо и – слезы! Кап! Кап! Кап!

– Привезли бы этих дорогих для меня слез! – молвила Елизавета Алексеевна, ноздри очень правильного, очень красивого ее носика трепетали.

– Ваше Величество! Ведь именно это и пришло мне в голову! – воскликнул граф. – Я глядел на слезы, падающие с дивных ресниц вежливой актрисы, и чуть было не подставил ладонь.

– Как мило! Как трогательно! – Елизавета Алексеевна вместо глаз тронула платком уголки губ. – Я рада, что Жорж у себя... Здесь по-французски и говорить скоро станет невозможным.

Беседа снова скатывалась к войне, и Александр, противясь этому, улыбнулся полной своей улыбкой.

– Мне рассказали сегодня об одном москвиче... Граф, вы по-русски понимаете?

– Я – славянин.

– Так вот этот Офросимов любит говорить о себе: я человек бесчестный, безвинный, но не бездушный... Понимаете, граф? Без-честный, то есть лишенный счастья, без-винный – иначе невиноватый, но не бездушный. Имеющий, стало быть, душу. Понимаете? – Александр сделал паузу, и Елизавета Алексеевна попала на уловку, спросила, и тоже по-русски:

– В чем же соль?

– А в том! – рассмеялся довольный рассказчик. – Офросимов, как и я только что, дожидается вопроса и разъясняет: часов не ношу – вот и бесчестный, вина не пью – вот и безвинный, но духи употребляю, потому и не бездушный.

Разговор поправился, стал ни о чем, как и подобает в свете, и наконец перешел на музыку. Императрицу интересовали свежие музыкальные события Европы.

– Из самого замечательного – Бетховен сочинил седьмую симфонию. Музыка нарядная, в ее основе – мелодии народных танцев, – рассказывал Огиньский. – В Берлине мне довелось слышать 59-й опус – три квартета, некогда сочиненные маэстро по заказу графа Разумовского. Два из этих квартетов созданы на темы русских песен. Граф отменный музыкант, владеет скрипкой, как виртуоз. Он, должно быть, и познакомил Бетховена с русскими мелодиями.

– Я слышала, у маэстро трагическая для его дара немочь. Почему не лечится? Почему он оставлен баз помощи? – У Елизаветы Алексеевны глаза от сострадания замирали.

– Врачи бессильны, Бетховен глохнет.

Огиньский говорил все это, наслаждаясь красотой императора, императрицы и тоскуя, до щемления в паху, о невысказанном, но ради чего он здесь и, может быть, именно ради сего, не высказанного, но непременно, он и востребован Господом к жизни.

Всего-то и надо было ахнуть, как саблей, чтоб до седла: ваши величества, верните Польше Польшу. Зачем сия земля необъятной России? Какой прок русскому мужику, что он – владелец Варшавы и Кракова? Зачем Польша просвещенному обществу, вашей империи, когда у

русских тяга к французам, к немцам, а у польской элиты тяги к русскому не было от века и не будет до Страшного суда.

Государь – ты же немец! Государыня Луиза Мария Августа, тебе дороже всей России уютным Баден Дурлахский. А я поляк. Давайте договоримся.

Русские и не заметят, что лишились Польши, как не замечают, что она у них есть.

Ужаснулся. Поймал себя: умоляет собеседников взорами.

Его волнение увидели, но приняли за сочувствие престранному, удивительному композитору. Елизавете Алексеевне хотелось пригласить графа помузицировать, однако Александр выказывал явное нетерпение залучить гостя в свой кабинет. Пришлось уступить.

В кабинете государь подвел Огиньского к окну.

– Когда приходится думать о судьбе империи, меня тянет сюда. Смотрю на могучий ток Невы, и в эти мгновения голова моя свободна от каких-либо расчетов, раскладов. Разве что само собою скажется: Петр Великий.

– Река – образ времени, – согласился Огиньский.

– Граф, вы проехали через несколько государств. – Александр смотрел на воду, и на висках его проступала под кожей грибница тонких жилок. – Чем живет Европа? Не показно – изнутри.

– Страхом, Ваше Величество, – сказал Огиньский не задумываясь. – Страх как раз нутряной, но его и не пытаются скрывать.

Александр быстро глянул на графа.

– Наполеон непобедим... Но неужели...

Не договорил.

– Наполеон – ничтожество, – тихо, но не терпя прекословия, сказал граф.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.